

В. В. Верещагин

На войне

в Азии и Европе
1868-1882

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ	2
САМАРКАНД.....	2
КИТАЙСКАЯ ГРАНИЦА. НАБЕГ	21
ДУНАЙ	37
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ БАЛКАНЫ. СКОБЕЛЕВ.....	54
НАБЕГ НА АДРИАНОПОЛЬ.....	82
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ СКОБЕЛЕВ.....	108
ИЗ ОПЫТА ПОХОДОВ	123

ПРЕДИСЛОВИЕ

Оглядываясь на свое прошлое, спрашиваю себя иногда: уж полно, я ли все это пережил и перечувствовал — так много в нем всех родов впечатлений и тревожений. Весьма возможно, что посторонние отнесутся с недоверием к этому бурному прошлому, особенно к деятельному участию, которое я принимал в различных кампаниях.

Вспоминаю по этому поводу следующее: после утомительного дела под Самаркандом, рассказ о котором следует далее, лихорадка принудила меня уехать из отряда и через месяц с небольшим после Самаркандского сидения я очутился в Париже, в кругу оставленных там товарищей, художников.

Разумеется, пошли вопросы о Туркестане, как новой стране, — я рассказал, что видел и слышал, рассказал, что даже участвовал в битве.

— Может ли быть?

— Да, случалось водить солдат на штурм.

- ??

Я откровенно описал мои впечатления, ощущения и события: «Георгиевская Дума мне первому присудила крест, но, как носящий статское платье, я просил генерала Кауфмана просить государя перенести эту милость на другого» — ??! — На следующий день после этой беседы покойный профессор Гун, прекрасный товарищ, говорит мне: «Ты помнишь инженера К., который вместе с нами слушал вчера твой рассказ? — Помню. — Когда ты ушел, он говорил, что ты все врал... — Как врал? — Так, все, говорит, от первого до последнего слова, все вранье: что ты водил солдат на штурм, что тебе присудили Георгиевский крест, но ты отказался от него — все это, говорит, невозможные вещи и тебе это верно померещилось...» «Ну что ж, пусть его», — ответил я, немного сконфузившись — как, чем мог я доказать, что ничего не солгал?

Через месяц прихожу в трактирчик, в котором собирались обыкновенно наши к обеду — встречают восклицаниями: К. виновато жмет руку, а архитектор В. с русской газетой в руках читает, что государь император, «за блистательные мужество и храбрость» жалует мне Георгиевский крест — я был отомщен!

Четверть века спустя, я получил от военного губернатора Самаркандской области графа Ростовцева следующую телеграмму: «Войска, служащие и население, празднуя двадцатипятилетие занятия Самарканда, вспоминают славные дела старых туркестанцев и поднимают бокалы за Ваше здоровье».

Спасибо, от души спасибо — за память.

В. В.

САМАРКАНД

1868

В 1868 году я ездил по Туркестану, смотрел, рисовал, но открывшаяся кампания против бухарского эмира заставила изменить маршрут, и я присоединился к действовавшему отряду, в надежде поближе посмотреть на войну. Самарканд был уже занят, когда я догнал войска, так что пока не удалось видеть сражения.

Все мы, «завоеватели» Самарканда, следом за главным начальником отряда — генералом Кауфманом, расположились во дворце эмира; генерал — в главном помещении, состоявшем из немногих, но очень высоких и просторных комнат, а мы, штаб его, — в саклях окружающих дворов, причем приятелю моему, генералу Головачеву, пришлось занять бывшее помещение гарема эмира, о котором тучный, но храбрый воин мог, впрочем, только мечтать, так как все пташки успели,

разумеется, до нашего прихода улететь из клеток.

Комнаты генерала Кауфмана и наш дворик сообщались с знаменитым тронным залом Тамерлана, двором, обнесенным высокой прохладной галереей, в глубине которой стоял и самый трон Кок-таш — большой кусок белого мрамора, с прекрасным рельефным орнаментом. Сюда, на этот двор, стекались государи и послы всей Азии и части Европы для поклона, заверений в покорности и принесения даров; на этом камне-троне восседал, принимал своих многочисленных вассалов Тимур-Лянг¹ (в буквальном переводе — Хромое железо). Я часто хаживал по этой галерее с генералом Кауфманом, толкуя о местах, нами теперь занимаемых, о путешественниках, их посетивших, о книгах об них написанных и т.п. Мы дивились неверностям, встречающимся у известного Вамбери², утверждающего, например, что трон Кок-таш зеленый, что за тронем надпись на железной доске, тогда как трон белый или, вернее сероватый, надпись на камне, а не на железе, и т. д. Генерал Кауфман, ввиду таких вопиющих несообразностей, выражал предположение, что Вамбери просто не был в Самарканде.

Я ежедневно ездил в город и за город, осматривал мечети, базар, училища, особенно старые мечети, между которыми уцелело еще не мало чудных образцов; материала для изучения и рисования было столько, что буквально трудно было решиться, за что ранее приняться: природа, постройки, типы, костюмы, обычаи все было ново, оригинально, интересно.

Были слухи, что бухарский эмир собирается отвоевать город и с армией в 30-40 тысяч двигается на нас. Кауфман собирался выступить против него, а покамест посылал отряд по сторонам, чтобы успокоить и обезопасить население окрестностей новозавоеванного города, — города, прославленного древними и новыми поэтами Востока, «пышного, несравненного, божественного» Самарканд, каковые метафоры, разумеется, надобно понимать относительно, потому что Самарканд, подобно всем азиатским городам, порядочно грязен и вонюч.

Генерал Головачев ходил занимать крепость Каты-Курган; я сделал с ним этот маленький поход, в надежде увидеть хотя [бы] теперь битву вблизи, но кроме пыли ничего не видел — крепость сдалась без боя, к великому огорчению офицеров отряда. Начальник кавалерии Шtrandмат так рассердился на мирный оборот дела, что просил генерала передать ему послов, пришедших с известием о сдаче крепости и изъявлении покорности, — для внушения им храбрости. Дело, которого так пламенно желал отряд, ускользнуло из рук, а с ним и награды, отличия, повышения — грустно!

Мы немало смеялись над способом, которым помянутый начальник кавалерии раздобыл мяса для своих казаков. Так как жители угнали весь скот со всех мест нашего пути и ничего нельзя было достать, то полковник решил на энергическое средство: призвал вахмистра.

— Отчего наши быки так далеко пасутся?

Тот ошалел.

— Какие быки, ваше высокоблагородие?

— Наши быки, я тебе говорю, разве не видишь? — он указал на быков, пасшихся на расстилавшейся перед нами богатейшей Зарявшанской долине.

— Никак нет...

— Не разговаривать! Сейчас пригнать их сюда.

Несколько быков были пригнаны к отряду и съедены так быстро и чисто, что, когда жители явились к генералу жаловаться, нельзя было отыскать ни костей, ни шкур. Генерал понял фокус казаков и

¹ Иронизированное прозвище Тамерлана, букв. перевод — Тимур Хромой. — *Здесь и далее примеч. ред.*

² Вамбери Арминий — венгерский востоковед, путешественник, полиглот.

заплатил.

Пистолькорс, бравый кавказский офицер, послан был с отрядом поколотить массы узбекского войска Шахрисябза³ и Китаба, придвигавшихся с юго-восточной стороны. Побить-то он их побил и по праву всех победителей даже ночевал на поле битвы, но когда двинулся назад, неприятель снова нагнал на него и, как говорится, на его плечах подошел к Самарканду. Генерал Кауфман и мы за ним выехали навстречу возвращавшемуся отряду, но уже в предместье города нас встретили выстрелами, а в окружающих садах завязалась такая живая перестрелка, что пришлось часть бывших с нами казаков тут же послать в атаку, чтобы отвратить опасность от самого командующего войсками; мы с некоторым конфузом воротились. Многие из офицеров отряда выражали неудовольствие на эту победу, смахивавшую на отступление, и я слышал, что полковник Назаров, храбрый офицер и большой кутила, громко называвший последнее движение к Самарканду бегством, вдобавок послушавшийся Пистолькорса, был посажен Кауфманом под арест с воспрещением участвовать в будущих военных действиях.

Туземцы ободрились этой как бы удачей, в сущности сводившейся к тому, что неприятель, не будучи разбит наголову, а только поколочен, немедленно же снова собрался и заявил о себе, как это всегда на Востоке бывает. Как бы то ни было, стали действительно ходить слухи о том, что город окружен неприятелем. Мы, молодежь, впрочем, были совершенно без забот; мне и в голову не приходила, мысль как о более или менее отдаленной опасности для всего отряда, так и о немедленной опасности для себя лично. Каждый день я ездил с одним казаком по базару и по всем городским переулкам и закоулкам, и только долго спустя понял, какой опасности ежедневно и ежечасно подвергался. Еще до выхода командующего войсками, при проезде городом, невольно бросались в глаза по улицам кружки народа, преимущественно не старого, жадно слушававшего проповедовавших среди них мулл; в день возвращения отряда Пистолькорса проповеди эти были особенно оживлены, явно было, что народ призывался на священную войну с неверными. Когда мне вздумалось раз, для сокращения пути к цитадели, свернуть с большой базарной дороги и проехать узенькими кривыми улицами, на одном из поворотов открылся большой двор мечети, полный народа, между которым ораторствовал человек в красной одежде — очевидно, посланец бухарского эмира. Я встретил также моего приятеля, старшего муллу мечети Ширдари, идущего по базару и жестами и голосом возбуждавшего народ.

— Здравствуй, мулла! — сказал я ему; он очень сконфузился, но вежливо ответил и волей-неволей перед всеми должен был пожать протянутую ему руку кяфира⁴.

Как только генерал Кауфман выступил из города, стали говорить, что жители замышляют восстание. Но я уже давно с таким полным доверием вращался между туземцами, во всякое время дня и ночи, что самая мысль о том, что это может измениться, не умещалась в моем понятии. В это время я ездил за город, по дороге к Шах-Зинде, так называемому летнему дворцу Тамерлана, где писал этуод одной из мечетей с остатками чудесных изразцов, когда-то ее покрывавших. Однако, в конце концов, мне так надоело встречать только песок и пыль вместо сражений, что я решил уехать из Самарканда, с первой оказией и направиться в путешествие по Кокану⁵, почему и распрощался с генералом Кауфманом. Однако на следующий же день по уходе его объявлено было, что оказия не скоро представится, потому что, из опасения окруживших город шахрисябцев, пришлось бы посылать целый отряд прикрытия, а у нас всего-навсего в крепости, для защиты стен, тянувшихся на три версты, было 500 человек гарнизона.

Еще через день, рано утром, забежал в каморку, которую я занимал во дворе Самаркандского

³ Шахрисябз — город на территории совр. Узбекистана, в Кашкадарьинской области.

⁴ Кяфир — букв, иноверец, неверный — в исламе человек, исповедующий иную религию.

⁵ Имеется в виду Коканд — город на территории современного Узбекистана, в Ферганской области.

дворца, уральский казак майор Серов, оставленный заведовать туземным населением. Он упрашивал не ходить более в город, кишачий будто бы вооруженным народом, уже открыто враждебным нам. «Шахрисябцы подходят к городу, надобно ждать бунта и, вероятно, нападения на цитадель».

— Бога ради, не выходите за крепостную стену, — уговаривал он меня, — вас наверное убьют, вы пропадете бесследно, нельзя будет и доискаться, кто именно убил.

Признаюсь, я все-таки и на этот раз не поверил существованию опасности и поехал бы опять в город, если бы не этюд с одного персианина из нашего афганского отряда, за которой только что накануне принялся и который надобно было кончить.

Предсказания относительно подхода неприятеля со стороны ханств сбылись не далее как на следующий же день: выйдя рано утром из моей сакли, я увидел все наше крепостное начальство с биноклями и подзорными трубами в руках, на крыше эмирского дворца.

— Что такое?

— А вот посмотрите сюда!

И в бинокль и без бинокля ясно было видно, что вся возвышенность Чопан-Ата, господствующая над городом, покрыта войсками, очевидно, довольно правильно вооруженными, так как блестели ружья, составленные в козлы. По фронту ездил конный начальник, рассылались гонцы. Некоторые из бывших в нашей группе офицеров выражали уверенность, что будут скоро штурмовать крепость, другие не верили в возможность этого — я был в числе последних. Между говорившими были комендант крепости майор Штемпель, помянутый Серов, а также оставленный, как сказано, в Самарканде, в наказание за злой язык, полковник Назаров, которого я в то время вовсе еще не знал.

В этот день я почти кончил моего афганца, оставалось дописать ноги, но этому не суждено было случиться. К вечеру я пошел, помню, по приглашению сапера Б., посмотреть, как они обрывают вал крепостной стены, обращенной к городу. Перед уходом генерал Кауфман поручил этому офицеру исправить все те места, где старая ветхая стена, обвалившись, сделала возможным доступ в крепость, но надобно думать, что и инженеры не очень-то верили в возможность серьезной атаки, так как работали вяло и только ввиду неприятеля, собравшегося на Чопан-Ата, принялись поживее за работу. Спасибо им и за то, что хоть самый главный пролом к стороне города исправили до начала дела: кабы он остался — через полчаса вся цитадель могла бы быть занята.

Только что на другой день я сел пить чай, поданный мне моим казаком, собираясь идти дописывать своего афганца, как раздался страшный бесконечный вой: «Ур! Ур!» вместе с перестрелкой, все более и более усиливавшейся. Я понял серьезность дела — штурмуют крепость! — схватил мой револьвер и бегом, бегом по направлению выстрелов, к Бухарским воротам! Вижу — Серов, бледный, стоит у ворот занимаемого им дома и нервно крутит ус — обыкновенный жест этого бравого и бывалого казака в затруднительных случаях.

— Вот так штука, вот так штука! — твердит он.

— Что, разве плохо?

— Покамест еще ничего, что дальше будет; у нас, знаете, всего-навсего 500 человек гарнизона, а у них, по моим сведениям, свыше 20 тысяч.

Я побежал дальше. Вот и Бухарские ворота. На площадке над ними солдатики, перебегая в дыму, живо перестреливаются с неприятелем; я вбежал туда и, видя малочисленность наших защитников, взял ружье от первого убитого около меня солдата, наполнил карманы патронами от убитых же и восемь дней оборонял крепость вместе со всеми военными товарищами, и это, кстати сказать, не по какому-либо геройству, а просто потому, что гарнизон наш был уж очень малочислен, так что даже все выздоравливающие из госпиталя, малосильные, были выведены на службу для увеличения числа штыков — тут здоровому человеку оставаться праздным было немислимо, грешно.

При первом же натиске ворота наскоро заперли, так что неприятель отхлынул от стен и, засевши в прилегающих к ней почти вплоть саклях, открыл по нас убийственный огонь: ружья у них, очевидно, были дурные, пули большие, но стрельба очень меткая, на которую к тому же отвечать успешно было трудно, так как производилась она в маленькие амбразуры, пробитые в саклях. У нас таких амбразур не было — приходилось стрелять из-за полуобвалившихся гребней стен, где люди были более или менее на виду и потеря в них поэтому была порядочная. Вот один солдатик, ловко выбиравший моменты для стрельбы, уложил уже на моих глазах неосторожно показавшегося у сакли узбека, да кроме того ухитрился еще вклепить пулю в одну из амбразур, так ловко, что, очевидно, повредил ружье, а, может быть, и нос стрелявшего, потому что огонь оттуда на время вовсе прекратился. Очень потешает солдатика такая удача, он работает, с усмешкой, шутит и вдруг падает, как подкошенный: пуля ударила его прямо в лоб; его недострелянные патроны достались мне в наследство. Другого пуля ударила в ребра, он выпустил из рук ружье, схватился за грудь и побежал по площадке над воротами вкруговую, крича:

— Ой, братцы, убили, ой убили! Ой, смерть моя пришла!

— Что ты кричишь-то, сердечный, ты ляг, — говорит ему ближний товарищ, но бедняк ничего уже не слышал, он описал еще круг, пошатнулся, упал навзничь и умер — его патроны пошли тоже в мой запас.

Скоро пришел майор Альбедиль и принял команду от своего младшего офицера, осмотрел занятую неприятелем позицию, сделал кое-какие распоряжения, но прокомандовал недолго: помнится, я говорил с ним о чем-то, когда он вдруг присел и выговорил: «Я ранен». Принявши его на мое плечо, я кликнул солдатика и стащил его сначала вниз, а потом и далее до перевязки, которая была во дворце эмира, за целую версту от ворот. Альбедиль браво отдал последние приказания, убеждал своих смутившихся солдат держаться крепко, не робеть и затем так ослаб, так беспомощно повис, что у меня не хватило духа сдать его солдатам — пришлось дотащить до квартиры. Дорогой раненый страшно устал, но носилок под руками не оказалось, пришлось идти.

— Чувствую, говорил он, — что рана смертельна, не жить мне более!

Я уговаривал, конечно, ободрял: рана в мягкую часть ноги, пройдет, заживет, еще танцевать будете! И, действительно, прошла, зажила, и Альбедиль даже танцевал; но все-таки проказница-пуля бухарская наделала больше вреда, чем я полагал: не перебила, но задела кость и на многие месяцы, если не на годы, задала страдания и забот.

Славши Альбедилья доктору, я побежал назад к воротам, где перестрелка и рев снова разгорались. Не доходя немного, влево, у поворота стены, вижу группу солдат: сжавшись в кучку, они нерешительно кричат «ура!» и беспорядочно стреляют по направлению гребня стен, где показываются поминутно головы атакующих.

— Всем нам тут помирать, — угрюмо толкуют солдаты. — О, Господи, наказал за грехи! Как живые выйдем? Спасибо Кауфману, крепости не устроил, ушел, нас бросил...

Я ободрял, как мог: «Не стыдно ли так унывать, мы отстоимся, неужели дадимся живые?» Очень пугали солдат какие-то огненные массы, вроде греческого огня, которые перебрасывали к нам через стены — они падали иногда прямо на головы солдат и многих обжигали.

Несколько далее подошел к стене небольшой отрядец солдат с офицером — это был помянутый полковник Назаров, который, ввиду беды, стряхнувшейся над крепостью, благоразумно забыл о своем аресте, собрал в госпитале всех слабых своего батальона, бывших в состоянии держать ружье, и явился на самый опасный пункт. К нему бегут солдаты совсем растерянные.

— Ваше высокоблагородие, врываются, врываются!

— Не бойся, братцы, я с вами, — ответил он с такою уверенностью и спокойствием, что сразу

успокоил солдат, очень было упавших духом от этих непрерывных штурмов, сопровождавшихся таким ревом.

С этой минуты мы были неразлучны с Назаровым, за все время восьмидневного сидения, хорошо памятного в летописях среднеазиатских военных действий.

Снова крики «Ур! Ур!» все ближе, ближе и над нами на стенах показались несколько голов из числа штурмующих, готовившихся, очевидно, сойти в крепость. Солдаты, не ожидая команды, дали залп, головы попрятались и все замолкло, толпа, очевидно, отхлынула от стен, встретивши пули там, где она надеялась войти безнаказанно, врасплох. Дело в том, что к этому месту, снаружи степи, вела тропинка, которую, вместе со многими другими, не успели обрыть, а с обрушенного гребня, по внутренней стороне, тоже спускалась дорожка; жители знали все эти неофициальные входы в крепость и водили по ним штурмующих.

Пришлось, оставивши здесь часть команды, ийти в другую сторону, откуда прибежали к Назарову один за другим несколько запыхавшихся бледных солдат.

— Там, там врываются, ваше высокоблагородие! — кричали они еще издали.

Мы бросились направо от ворот, где как раз накрыли, в небольшом проломе стены, несколько дюжих загорелых узбеков, работавших над разбором плохонького заграждения из небольших деревин — эти не дождалась не только штыков, но даже и пуль и побежали при одном нашем приближении.

Проклятая эта крепость, еще Тамерлановой постройки, в три версты в окружности, везде обваливалась, везде можно было пройти в нее, и так как внутри прилегалo к стенам бесчисленное множество сакль, то вошедшую партию неприятеля, даже и малочисленную, стоило бы большого труда перебить.

И жутко, и смешно отчасти вспомнить: только что повернулись отсюда, и Николай Николаевич Назаров стал уже поговаривать о том, что не худо бы поесть борщу, как бегут опять, разыскивая его, с нашего старого места:

— Ваше высокоблагородье, пожалуйста, наступают.

Мы опять бегом. Сильный шум, но ничего еще нет, шум все увеличивается, слышны уже крики отдельных голосов, очевидно, они направляются к пролому, невдалеке от нас; мы перешли туда, притаились у стены, ждем.

— Пойдем на стену, встретим их там, — шепчу я Назарову, наскучив ожиданием.

— Тсс! — отвечает он мне, — пусть войдут.

Этот момент послужил мне для одной из моих картин. Вот крики над самыми нашими головами, смельчаки показываются на гребне — с нашей стороны грянуло «ура!» и открылась такая пальба, что снова для штыков работы не осталось, все отхлынуло от пуль.

Эти непрерывные нападения действовали удручающим образом на солдат, тут и там повторявших, что «видно всем тут лечь». Нужна была энергия и шутки Назарова, чтобы заставлять время от времени, смеяться людей. Вообще мне бросилась в глаза серьезность настроения духа солдат во время дела. Атакующие часто беспокоили нас и в перерывах между штурмами: подкрадутся к гребню стены в числе нескольких человек, быстро свесят ружья и прежде чем, захваченные врасплох, солдатики наши успеют выстрелить, опять спрячутся, так что их выстрелы нет-нет да и портили у нас людей, а наши почти всегда опаздывали и взрывали только землю стены. Меня это очень злило, я подолгу стаивал с ружьем наготове, ожидая загорелой башки, и раз не удержался, чтобы не прибавить крепкое словцо — сейчас же солдаты остановили меня.

— Нехорошо теперь браниться, не такое время.

Сначала солдаты называли меня «ваше степенство», но когда Назаров стал называть: Василий

Васильевич, то все подхватили это и скоро весь гарнизон до последнего больного в госпитале знал «Василья Васильевича».

В это время начальник крепостной артиллерии, бравый капитан Михневич, всюду поспевавший, раздал нам ручные гранаты для бросанья через стены, в неприятельские толпы. Между тем шум что-то затих, так что мы не знали, куда бросать их, да к тому же подозревали, не затевают ли они какой особой каверзы — надобно было посмотреть через стену, где неприятель и что он делает. Офицеры посылали нескольких солдат, но те отнекивались, один толкал вперед другого — смерть почти верная.

— Пойдите, я учился гимнастике, — и прежде, чем Назаров успел закричать: — Что вы, Василий Васильевич, перестаньте, не делайте этого — я уже был высоко.

— Сойдите, сойдите, шептал Назаров, но я не сошел, стыдно было, хотя, признаюсь, и жутко. Стою там согнувшись под самым гребнем да и думаю: «Как же это я, однако, перегнуся туда, ведь убьют!» Думал, думал — все эти думы в такие минуты быстро пробегают в голове, в одну, две секунды — да и выпрямился во весь рост! Передо мной открылась у стен и между саклями страшная масса народа, а в стороне кучка в больших чалмах, должно быть на совещании. Все это подняло головы и в первую минуту точно замерло от удивления, что и спасло меня; когда они опомнились и заревели: «Мана! Мана!» т. е. «Вот, вот!» — я уже успел спрятаться — десятки пуль вцепились в стену над этим местом, аж пыль пошла.

— Сходите, Бога ради, скорее, вопил снизу милейший Назаров, и, конечно, повторять этого не нужно было; я указал место, где были массы народа, и наши гранатки скоро подняли большой переполах и гвалт, т. е. достигли цели.

Так как Назаров был сам себе начальник и мог переходить с места на место по усмотрению, то мы переместились на угол крепости, откуда на далекое пространство видны были обе линии стены. Кстати сказать, стены Самаркандской цитадели были очень высоки и массивны, так что если бы годы, столетия не поразрушили их, то за такой охраной можно бы отстаиваться; беда была та, что при существовавших везде проломах приходилось защищать это решето в одно и то же время сразу и нескольких местах, а защитников было мало, около 500 человек без больных и слабых, которых, по возможности, всех подняли на ноги. Многие были так слабы, что даже «ура!» не могли кричать, а ружье насилу держали в руках; бывало, убьют или ранят соседа, крикнешь сердито:

— Чего ты стоишь, смотришь-то, приди; помоги поднять.

— Я-не-могу-у, отвечает, я-из-слабы-ых.

— Зачем же ты пришел, коли двигаться не можешь!

— Не можем знать, приказали, всех к стенам согнали.

На новом нашем обсервационном пункте мы расположились отлично. Казак мой, разыскавший меня и не захотевший отстать «от барина», был послан за бывшими у меня сигарами, а Назаров велел принести хлеба и водки. Закусили и закурили по сигаре — что за роскошь! Сигары произвели такой живительный эффект, что я купил еще ящик и роздал по всем ближним постам — везде задымили. Тут принесли нам шей и мы подкрепились; это после утреннего стакана чая, да еще недопитого, было мне на руку. Назаров со всей своей командой расположился в тени саклей, а я с охотниками держался больше к стене, где тешился стрельбой — нет, нет да и видишь, как упадет подстреленный неприятель. Одного, помню, уложил сосед мой, но не насмерть — упавший стал шевелиться; солдатик хотел прикончить его, но товарищи не дали.

— Не тронь, не замай, Серега!

— Да вель он уйдет.

— А пускай уйдет, он уж не воин!

И точно тот ушел, но с хитростью и, вероятно, в полной уверенности, что перехитрил-таки нас: упавши на перекрестке улиц, близ стены, он стал медленно переваливаться с боку на бок, чтобы не возбудить нашего внимания сильным движением, и так, переваливаясь понемножку, докатился до закрытия, где приняли его несколько рук, вполне, вероятно, уверенных, что уруса⁶ надули, и никому, разумеется, в голову не пришло, что урус Сергея и многие другие урусы могли бы добить, но не захотели, по правилу «лежачего не бьют».

Исключая, впрочем, такие отдельные случаи маленькой сентиментальности, наши спуску не давали; но и они угощали нас! Выстрелы все шли из саклей, откуда ружья через маленькие отверстия были постоянно нацелены по известным пунктам цитадели, где показывались наши. Очень часто пули их метко ударялись в самые амбразуры, только что понаделанные в этом месте саперами. Раз, помню, ударило в носок амбразуры именно в тот момент, как я готовился спустить курок — всю голову так и засыпало песком и камешками. Я не утерпел, схватился руками за лицо.

— Снимайте его, — закричал снизу Назаров, думавший, что я ранен. Другой раз, нацеливаясь, я переговаривался с одним из соседей — слышу удар во что-то мягкое, оглядываюсь — мой сосед роняет ружье, пускает пузыри и потом кубарем летит со стены...

Назаров с двумя молодыми офицерами, имена которых я забыл, расположился совсем подомашнему. После одной чарки он велел обнести солдатам по другой, по обыкновению смеялся, забавлялся с ними, причем шутки его были часто очень скоромного свойства, если судить по тем непечатным выражениям, которые иногда долетали до наших амбразур, и громкому хохоту солдат. Можно было подумать, что опасность миновала.

Впрочем, эта крепостная идиллия продолжалась недолго. Скоро по направлению Бухарских ворот раздались и знаковые штурмовые крики и перестрелка, а затем прибежал и солдат с просьбой о помощи, «очень уж наседают». Назаров, оставивши на этой угловой квартире наблюдательный пост, сам беглым шагом направился к воротам; начальствовавший там офицер добровольно передал ему команду, точно так же как и саперный штабс-капитан Черкасов, со своими саперами.

Штурм опять отбили. Стало вечереть. Поставили медный чайник: мы расположились пить чай, не тут- то было — опять нападение. Мне невольно вспомнился утренний чай, стоявший еще, вероятно, недопитым в моей комнате, вспомнился и афганец, которому не пришлось дописать ноги и, по всей вероятности, и не придется⁷. Этот раз враги наши отошли что-то очень скоро, но вслед за их уходом показался за воротами дымок. «Ах, подлецы, они зажгли их!» Так и есть. Скоро сильное пламя обрисовалось на потемневшем уже воздухе. Как только ворота рухнули, новое сильнейшее нападение, на этот раз долгое, настойчивое. Стреляли чуть не в упор. Шум и гвалт были отчаянные; в этом гаме я кричу солдатам, без толку стреляющим на воздух:

— «Да не стреляйте в небо, в кого вы там метите!»

— Пужаем, Василий Васильевич. — отвечает один пресерьезно.

Помню, я застрелил тут двоих из нападавших методично, если можно так выразиться, по-профессорски. «Не торопись стрелять, — говорил я, — вот положи сюда ствол и жди»; я положил ружье на выступ стены: как раз в это время туземец, ружье наперевес, перебежал дорогу, перед самыми воротами — я выстрелил, и тот упал убитый наповал. Выстрел был на таком близком расстоянии, что ватный халат на моей злополучной жертве загорелся, и она, т. е. жертва, медленно горевши в продолжении целых суток, совсем обуглилась, причем рука, поднесенная в последнюю минуту ко рту, так и осталась, застыла: эта черная масса валялась тут целую неделю до самого возвращения нашего отряда, который весь прошел через нее, т. е. мою злополучную жертву. Другой упал при тех же

⁶ Так некоторые тюркские народы называют русских.

⁷ Этот афганец находится у И. Н. Терещенко — без ног. — *Примеч. авт.*

условиях и тоже наповал.

— Ай да Василий Васильевич, — говорили солдаты, — вот так старается за нас.

Нет худа без добра: как только ворота прогорели, Черкасов устроил отличный, совершенно правильный бруствер из мешков, к которому поставили орудие, заряженное картечью. Тут разговор пошел у нас иной.

Было уже темно, упавшие бревна и доски ворот еще ярко пылали. Назаров разместил солдат так, чтобы их не было видно, лишь штыки блестели в темноте. На виду в середине было только орудие с прислугой и офицером, белые рубашки и китель которых ярко блестели, освещенные пламенем. Вот приближается шум ближе, ближе, обращается в какой-то хриплый рев многих тысяч голосов с возгласами: «Аллах! Аллах!» Вот показались передовые фигуры, они зовут других: никто из них не стреляет, в руках шашки и батики; как бараны с опущенными головами, бросаются они на ворота и орудие... «Первая!» — раздается звонкий голос поручика Служенко. Ужасный гром орудия, слышно, как хлестнула картечь, затем молчание — ничего не видно, дым все застлал — и через минуту или две далеко вдали начинают раздаваться голоса: отхлынули, начинают, вероятно, сводить счеты, браниться, попрекать друг друга, а мы рады! Долго продолжались эти нападения, каждый раз с новым азартом; очевидно было, что они, во что бы то ни стало, хотели овладеть крепостью, но недисциплинированная масса каждый раз не выдерживала картечи на близком расстоянии и отступала. Впрочем, и было отчего отступать: хотя нам иногда и видно было, как они сразу подхватывали и подбирали своих убитых, но одних павших около самых стен, которых подобрать было невозможно, оказалось на другой день такое множество и на сильном солнце они подняли такое зловоние, что надобно удивляться, как у нас не завелось какой-нибудь заразной болезни.

Как поутихло, мы сделали вылазку, главной целью которой была находившаяся невдалеке мечеть; из нее, как из твердыни, направлялись все нападения на нас. Удостоверившись, что неприятель отошел, мы тихо вышли ночью прямо к этой мечети; живо собрали сухого дерева, разложили костры и запалили. То же самое сделали и с несколькими, близ самых ворот стоявшими саклями, наиболее нас душившими. В одной из них нашли рыжую туркменскую лошадь; решили подарить ее мне, но я отклонил эту честь, отдал лошадь артели, а у артели купил за 40 рублей. Здесь мы тоже живо запалили все, что могло гореть. Говорили шепотом, в темноте только и слышно было: «Николай Николаевич! Василий Васильевич! вот сюда петушка живо, живо!» Замечательно, что Назаров был на вылазке в туфлях и не столько, думаю, из забывчивости, сколько из полного равнодушия к опасности — стоит ли беспокоиться надевать сапоги, раз вечером снял уже их.

Когда огненные языки взвились, мы наутек, да и пора была; пожар заметили и стали приближаться голоса. Видно, пробовали тушить, но не могли одолеть огня, который разгорался все пуще и пуще.

Опять стали нападать на нас, но с еще меньшим успехом, так как теперь вся местность была освещена.

Поработали за эту ночь наша пушка и ее милый командир Служенко. Под звонкие выкрикивания его: «Первая! первая!» — я так и заснул. Раздобывши досок, мы расположились вповалку на песке, на улице, под самыми стенами, с готовым ружьем при бедре; несмотря на жесткость импровизированного ложа и великое множество солдатских блох, я заснул, как праведник.

Далеко за полночь сильный непривычный шум разбудил меня — это рухнула подожженная нами мечеть. Мы взошли на стену полюбоваться на дело наших рук: ночь была прелестная, воздух тихий, небо звездное — не верилось, что в такую чудную ночь шла борьба на жизнь и смерть. Так как часовые все были на своих местах и зорко смотрели кругом, то мы, потолковавши, снова заснули.

С раннего утра начались приступы то у нас, то далеко, где мы были вчера, а то и еще далее, у главного выхода в город. Тут в воротах тоже стояло орудие, но в несравненно выгоднейшем против

нашего положении, так как нельзя было войти в крепость иначе, как по мосту, переброшенному через ров, значит, сюрприза не могло быть. Эти ворота назывались Джузакскими, начальствовал тут капитан Щеметило, чистокровный хохол и прекрасный человек. В оба эти места Назаров послал раз подкрепление, когда им пришлось туго. Хорошо было также видно, как на наше вчерашнее местопребывание велась атака: масса атакующих бегом с криком «ур!» поднялась до гребня и, потеряв несколько убитых и раненых, стремительно же утекла назад, вперегонку.

Стало и у нас, и везде затихать. Николай Николаевич сманил меня пойти поесть кисленького, как он называл борщ и щи, к знакомым купцам, давно уже давшим знать, что во всякое время кушанье будет готово, и велел немедленно дать знать ему, если будет хоть малейшая опасность. Купцы, наши русские, приехавшие в Самарканд для начала торговых сношений, не рады, конечно, были, что попали в такую передрагу. Один из них, Трубчанинов, доверенный известного Немчанинова, по торговле чаем, был храбрее прочих, он приходил даже со своим охотничьим ружьем, в красной рубашке, к нам на стены. Другие страшно перетрусили, и как только начиналась пальба, зажигали свечи пред иконами и начинали на коленях молиться Богу. Так как пули стали залетать в двери, то они должны были перенести место моленья в другой угол, а когда некоторые большие фальконетные пули, калибра маленьких ядер, пробили крышу, то пришлось и еще раз перенести чтение молитв, в третье место.

Они накормили и напоили нас, послали водки для солдат, так же как и несколько ящиков сигар, с которыми я после обошел вдоль стен и оделил всех желающих. Они признались нам, что пальба и крики их страшно пугают и заставляют постоянно ждать, что вот-вот пожалуют гости и, конечно, всех перережут.

Больные и раненые наши помещались на тронном дворе, но навесные пули из города попортили многих раненых и чуть не убили доктора, так что часть их перевели в сакли, как раз около купцов, чем окончательно лишили тех покоя: стоны их и день и ночь надрывали душу, как говорил мне Трубчанинов.

На самом троне Тамерлана я нашел целую семью евреев и сказал Назарову, не переместить ли их с такого освященного историей предмета?

— Зачем, — отвечал тот, еще и... велю! Евреев оказалось у нас множество, разумеется, с чадами и домочадцами; почувствовав свободу с приходом русских, они по-своему заважничали, стали носить кушаки вместо веревок, стали ездить на лошадях, что им строжайше было запрещено прежде и, конечно, были бы все перебиты, если бы остались в городе. Как мне рассказывали, при сильной пальбе у нас, они поднимали страшный вой, молились, били себя по щекам, трепали за пейсы! Кроме них, спасались в крепости персы, индийцы, татары. Все это, при нашем входе, бросилось спрашивать: что и как, благодарили, целовали полы платьев, плакали от умиления.

Назарову дали знать, что снова собираются отряды, чуть ли не для нападения, и мы поспешно воротились к стенам, но атаки были слабые, мы успокоились. Так как солдаты не раздевались, валялись всю ночь по большей части в песке и насекомые заедали их, то Назаров, отделивши часть, приказал им идти к пруду ближайшей мечети мыться, причем прибавил: «Мойтесь, смотрите, так, чтобы каждого из вас...» — тут следовала такая фраза, которую ни на каком языке нельзя передать. Солдаты загрохотали: «Рады стараться, ваше высокоблагородие».

Отряд наш теперь значительно увеличился. Так как к этим воротам, как самому опасному пункту, комендант послал все, что наскреб: кроме выздоравливающих, тут были и казаки и другие разночинцы, которые ура-то, пожалуй, кричали, но держались больше вдвали, под крышами саклей. Кроме двух-трех батальонных офицеров, у Назарова были два саперных офицера: помянутый Черкасов и Воронеж, последний совсем зеленый, пухленький юноша, недавно окончивший инженерное училище. Так как народ был больше молодой, то все время проходило в смехе и шутках, прерывавшихся иногда лишь известием, что такого-то убили или ранили. Между прочим, ранили смертельно нашего милейшего

артиллериста Служенко. Меня не было в это время, но Воронеж рассказывал, что этот храбрый офицер ехал вдоль стены в белом кителе, на вороной лошади, представляя таким образом слишком хорошую мету, что ему и замечали. «Я вижу, что он что-то склонился над седлом, — рассказывал Воронеж, и спрашиваю: — Служенко, что с вами? — ничего не отвечает. — Сняли с лошади — пуля в животе».

Я воспользовался маленьким затишьем, чтобы попробовать объехать мое новое приобретение — рыжего туркмена, захваченного на вылазке. Но не успел отъехать и 100 сажен, как разразился целый ад — сильнейший из всех бывших приступов к крепости.

Передавши лошадь на руки первому казаку, я бросился к битве. Узбеки, должно быть, давно уже прокрасились к стенам через сакли, которые к ней в этом месте, т. е. у самых ворот, примыкали, разобрали стену так тихо, что решительно никакого шума мы не слышали, и через постройки, выходявшие на эту сторону, ринулись на наше орудие. При этом, кроме пуль, посыпался через кровли саклей целый град, очевидно, заранее приготовленных камней. Первое приветствие, полученное мною, был страшный удар камня в левую ногу — я взвыл от боли! — думал, нога переломлена — нет, ничего. Все кричат «ура!», но вперед не идет никто. Вижу, в самой середине Назаров, раскрасневшийся от злости, бьет солдат наотмашь пашкой по затылкам, понуждая идти вперед, но те только пятятся. «Черкасов! — раздается его голос, — лупите вы этих подлецов!» Мысли, буквально с быстротой молнии, мелькают в такие минуты: моя первая мысль была — не идут, надо пойти впереди; вторая — вот хороший случай показать, как надобно идти вперед; третья — да, ведь убьют наверно; четвертая — авось не убьют! Двух секунд не заняли эти мысли; впереди была груда каких-то бревен, — в моем не очень представительном костюме, сером пальто нараспашку, серой же пуховой шляпе на голове, с ружьем в руке, я вскочил на эти бревна, оборотился к солдатам и, крикнувши: «Братцы, за мной», бросился в саклю на неприятельскую толпу, которая сдала и отступила. Я хорошо помню все мои действия и побуждения и сознательно разбираю их: первое движение, прибежавши благополучно в саклю, было встать в простенок между окнами, в которые убежавший неприятель крепко стрелял, и таким образом сохраниться от пуль; то же сделал вбежавший за мной Назаров, благополучно миновавший фатальное пространство, но многие из следовавших за нами солдат попались: немало убито [было] наповал, много ранено, а некоторых, увлекшихся преследованием, неприятель захватил в плен и, отрезав им головы, унес. Один солдатик чуть не сшиб меня с ног: раненный в голову, он так чебурахнулся об меня, что совсем закровянил пальто мое. Они хрипел еще, я вынес его, но он скоро умер, бросив на меня жалкий взгляд, в котором мне виделся укор: как будто он говорил: зачем ты завел меня туда! Эти взгляды умирающих остаются памятными на всю жизнь!

Как теперь помню: когда генерал Кауфман посетил раненых после дела под Чопан-Ата, 1 мая, т. е. после первой битвы под Самаркандом, имевшей результатом занятие города, он подошел к одному молодому офицеру, раненному в голову, который, по приговору врачей, должен был умереть. Я стоял около и слышал, что на ласковый и сочувственный опрос генерала раненый отвечал тихо, толково и вежливо. Но когда Кауфман стал говорить ему, что *главное* сделано, неприятель разбит и город занят, больной ничего не ответил, лишь взглянул, но как взглянул — сердито, зло! — *главное* для него, очевидно, была его рана.

Неприятель отошел, но не ушел и так беспокоил нас своей стрельбой, что я уговорил Назарова перейти в наступление: мы перепрыгнули через бруствер⁸ и с здоровым «ура!» атаковали врагов с фланга. Я бежал впереди и, на счастье мое, оглянулся — никого за мной не было: все солдаты, как бараны, сбились в кучу, кричат «ура!» стреляют, но не двигаются. Тщетно опять Назаров лупил их, называл подлецами, трусами, тщетно на этот раз и я взывал: «За мной, братцы, за мной», — за мной никто не шел; совершенно охрипши и истощив весь запас терпения, я обратился к Назарову: «Велите

⁸ Бруствер — насыпь в фортификационном сооружении, предназначенная для удобной стрельбы, защиты от пуль и снарядов.

ударить отбой. Николай Николаевич, не пойдут!» Барабанщик ударил отбой и мы воротились. Отчего не пошли солдаты? Нас было совсем немало, человек полтора, а неприятеля совсем не очень много, может быть, несколько сотен и рассыпанного, видимо, отступавшего; тем не менее я живо помню, как передние пятились на задних, какой ужас написан был на всех лицах; я объясняю это, хотя и не уверенно и во всяком случае не вполне, тем, что солдаты боялись, выйдя за крепость, быть отрезанными, потеряться, в бесконечном числе улиц, переулков. Так или иначе, неприятель был совершенно отогнан и даже наша последняя вылазка была не бесполезна, так как после нее перестали так крепко стрелять в нас.

Кстати, замечу здесь, что, по мнению моему, так называемое предчувствие — не что иное, как маленькая трусость, весьма понятная и извинительная в серьезной опасности, которая заставляет нас ожидать всего худшего. Случится так, как боялся, что случится — говоришь: я предчувствовал это; не случится — все сейчас же и забывается. Один юный офицерик при начале этого дела с видимым страхом смотрел на свалку, укрываясь от пуль и камней под крышей ближней сакли, и, когда я поравнялся, шепнул мне:

— Я чувствую, что буду сегодня убит.

— Что за вздор, — успел я ответить ему.

— Вы не верите! Вот увидите...

Я не имел времени рассуждать более, но помню, что меня поразила уверенность, с которой он произнес последние слова. «Бедняга, — мелькнуло в уме, какое сильное предчувствие, в самом деле не ухлопали бы его!» И что же? Не только малого не убили, но и не ранили. Когда я напомнил ему после, он ответил с неудовольствием: «Ну, пустяки!»

В этом деле мы потеряли сравнительно много народа. Я наложил потом стогом две арбы тел. Некоторые были мертвы уже, другие еще пускали дух или пузырьки — последние преимущественно из тех, что выпили лишнюю рюмку водки перед делом. Все мы заметили, что орудие наше что-то не стреляло. Назаров стал допрашивать: оказалось, что фейерверкер⁹, так браво служивший все время свою службу, преждевременно отпраздновал победу, тоже, вероятно, лишней рюмкой и с пьяных глаз не так всунул гранату, которая засела трубкой и ни тпру, ни ну! Счастливо мы отделались. Все до того устали, что никто не хотел приняться за уборку убитых и раненых — одних убитых оказалось 40 человек.

Ужасны были тела тех нескольких солдат, которые зарвались и головы которых, как я сказал, были глубоко вырезаны из плеч, чтобы ничего, вероятно, не потерять из доставшегося трофея. Солдаты кучкой стояли кругом этих тел и решали, кто бы это мог быть — «Сидоров или Федоров», и только по некоторым интимным знакам на теле земляки признали одного из них. Известно, что за каждую доставленную голову убитого неприятеля выдается награда преимущественно одеждой и это не в одной Средней Азии, но и в Европе — у турок, у албанцев, черногорцев и других. Этот случай дал мне также тему для небольшой картины, представляющей собирание в мешок голов убитых неприятелей.

У меня за этот штурм одна пуля сбила шапку с головы, другая перебила ствол ружья, как раз на высоте груди — значит, отделался дешево. Я надел на голову и носил следующие дни белый чехол с офицерской фуражки, и теперь еще где-то сохраняющейся у меня. Назаров вышел целешенек. Этот человек был храбр какой-то особенной, солдат выразился бы — залихватской, храбростью. Атаковавшие зашли так далеко, что воткнули и даже привязали к саклям у стены близ ворот большое красное с буквами, вероятно, именем Аллаха, знамя; снять его было трудно потому, что, занявши дома противоположной улицы, они продолжали бить по нашим. Я решился отвязать этот позорный, для

⁹ Фейерверкер — унтер-офицерское звание и должность в артиллерийских частях российской императорской армии, а также в некоторых иностранных армиях.

крепости нашей, флаг и, как Николай Николаевич ни отговаривал, благополучно исполнил работу, хотя пульки в продолжение ее так и ударялись подле. С торжеством вынес я мой трофей на его высочайшем шесте и вручил отцу-командиру, т. е. Назарову. Что же он сделал? Передал командующему войсками? Поставил в походную церковь? — Нет! — к ужасу моему, он отдал это знамя солдатам на портянки. После, глядя на значки и знамена, стоявшие кругом палатки Кауфмана, я сравнивал их со взятым мною, и находил, что последнее было и выше, и красивее. Больше же всего было обидно то, что когда я разыскал моего коня, он оказался привязанным веревочкой, а это значило, что в то время как я некоторым образом проливал кровь за отечество, кто-то, вероятно, из *пригнанных* нам на помощь казачков, утащил уздечку. Признаюсь, — не ожидал!

«Василий Васильевич, — позвал меня Назаров, когда все успокоилось — пойдём поесть кисленького». Когда мы вошли в помещение дворца, все бросились благодарить: не говоря про евреев, татар, персиян, даже наши раненые повывлезли приветствовать Назарова. Воображаю, каково им было слышать отсюда эту отчаянную пальбу и непрерывные крики и понимать, что каждую минуту плотина может сдать и поток затопит их. Конечно, им вдали было страшнее, чем нам вблизи.

«Прятели-купцы просто упали нам на шею: они признались, что такой пальбы и шума еще не было прежде и они все время творили молитву».

«Вы ранены», — говорят мне, глядя на кровавые пятна моего пальто; пришлось объяснить, как сосед, солдат, награбил меня этими пятнами, приказавши долго жить.

Осмотревши свою аварию на ноге, я нашел, что из маленькой ранки на кости вытекло немало крови. Милейший Трубчанинов даже в ужас пришел и советовал обратиться к доктору, но так как ни платье, ни белье не были разорваны, то ясно было, что это простой ушиб, и я стыдился показать себя раненым камнем. Мы зашли к Служенко. Кажется, он признал нас, но говорить не мог. По словам его окружавших, он страшно мучился. Через день, слышим, — умер.

Возвратясь к воротам, мы застали несколько офицеров, пришедших поразузнать о подробностях дела; они наслышались о том, как я воевал, не щадя живота, и горячо поздравляли меня».

«Вам первый крест, Василий Васильевич», — сказал В., думая, конечно, сделать мне приятное, но я энергично протестовал против этого, потому что, признаюсь, к некоторому чувству тщеславия, возбужденному такими словами, примешивалось и порядочное чувство гадливости: едва ли не лучшие часы моей жизни были эти два дня, проведенные в самой высокой дружбе, в самом искреннем братстве, устремленных к одной общей цели, всеми хорошо сознаваемой, всем одинаково близкой — обороне крепости. Я хорошо помню и искренне говорю, что ни разу мысль о какой бы то ни было награде не приходила мне в голову, и вдруг стали считать заслуги, кто что совершил, кто что может получить, получит ли? и прочее. Батюшки, пощадите... С горя я взял ружье и ушел в нашу башню при воротах — стрелять врагов, нет-нет да и подвертывавшихся под выстрелы».

Под вечер пришли еще два офицера от других ворот узнать, как дела идут. Так как было совсем спокойно, то я пригласил их прогуляться по нашему «бульвару», т. е. по выжженной улице, между трупами. Взявши под ручки, я вывел их за бруствер; Назаров, Черкасов и другие офицеры последовали за нами. Правду сказать, глубокая тишина была несколько тосклива; где-то недалеко выла собака, трещал огонь кое-где догоравших домов; шипенье пули, ударившейся в песок в аршине от меня, дало знать, что за нами следят, а приближающиеся голоса и совсем убедили убраться подобру-поздорову восвояси — мы даже не были вооружены.

Когда совсем стемнею, Назаров повел нас опять на вылазку: мы выжгли все дома вдоль стен еще на большее расстояние, вплоть до самого угла, места нашей прежней стоянки, и опять, как только зарево пожара обратило на наши подвиги внимание осаждавших, благоразумно ретировались, не потеряв ни одного человека».

Назаров был опять в туфлях и едва не обжег себе ноги, что, впрочем, не исправило его — покой дороже всего!

На следующий, третий день осады приступы были легче, хотя перестрелка не умолкала, то разгораясь, то затихая. Полковник наш предпринял вылазку подальше в город, чтобы выжечь всю вторую улицу вдоль стен — элементарная предосторожность, которую должен был бы исполнить еще много ранее сам командующий войсками, очевидно, по доброте душевной не решившийся наносить жителям изъяна — результат был тот, что перебили у нас много народа, да вдобавок чуть не отобрали крепость, падение которой было бы бесспорно сигналом для общего восстания Средней Азии. Будь очищен кругом крепости правильный зон, нападение на нее если бы не было вполне невозможно, то во всяком случае в пять раз труднее.

Отряд наш, назначенный для вылазки, оставивши часть солдат с офицером у Бухарских ворот, направился к Джузакским, где после выстрела из орудия и дружного «ура» Назаров как кошка бросился за стену. Я скоро обогнал его, побежал впереди и на повороте в первую же улицу лавок приостановился, подзывая товарищей: передо мной врассыпную бежало множество народа; некоторые, оборачиваясь, стреляли; большинство без ружей с батиками¹⁰ и саблями, спасалось. Здесь случился со мной такой казус: с криками «ура!» мы бежим по улице; я валяю впереди и, увлекшись преследованием двух сартов, забегаю в улицу направо; они — еще направо, я — за ними. Передний успел шмыгнуть в ворота, а заднего я нагнал: он прислонился к углу и ждал меня с батиком; я размахнулся штыком, но платье было толстое ватное, да к тому же детина с отчаянием уцепился за штык, отвел удар и в свою очередь замахнулся на меня батиком. Мы схватились врукопашную. Я не нашел ничего лучшего, как колотить его по голове, а в кулаке-то у меня была коробочка со спичками для зажигания домов — спички-то воспламенились и обожгли мне руку. Видя такой неумелый прием борьбы, противник мой, крепкий, с проседью мужчина, ободрился, опустил свое оружие и стал отнимать у меня мое. На беду другой сарт, спасшийся было в ворота, тоже показал снова свой нос. Я понял, что меня сейчас убьют — кругом не было ни души — и что есть силы закричал: «Братцы, выручай!», — закричал, почти безнадежно, но солдаты слышали: один прибежал, ружье на руку, размахнулся, — но тот с отчаянием уцепился и за этот штык; тогда солдат снова размахнулся — на этот раз штык глубоко вошел — и мой противник склонился. Я от души поблагодарил солдата за спасение и обещал ему 10 рублей. Эта штука, однако, не исправила меня и сейчас же вслед затем я нарвался второй раз. То же бесконечное «ура» и погоня за утекающим неприятелем, из которых несколько человек вскочили в лавку, я за ними, опять крепко опередивши товарищей. Как они набросятся на меня, несколько-то человек, один чем-то дубасит, другие выдергивают ружье. Признаюсь, у меня была одна мысль: батюшки мои, отнимут ружье, срам! Опять подбежали солдаты, выручили, переколовши всех — но голову мою таки наколотили.

По временам мы останавливались и зажигали преимущественно базарные циновки: скоро целая улица запылала, так что высокий дым поднялся по всему нашему пути.

Хотя тут были все сплошь лавки, солдаты вели себя очень прилично, ничего и не подумали грабить; убивать, разумеется, убивали всех, кто ни попадал под руку, но никаких бесполезных жестокостей себе не позволяли. Раз только я видел, как одному из валявшихся трупов солдат воткнул штык в глаз, да еще повернул его, так что в черепе скрипнуло... я только хотел сказать: «Что ты делаешь!» — как слышу *трах!* — звук здоровой оплеухи и голос Назарова: «Ах ты, подлец, убитому-то!» Мы прошли таким образом до самых Бухарских ворот, потерявши очень мало народа, двух или трех, и то только ранеными.

Когда мы возвратились, нас встретил комендант с несколькими офицерами; он, кажется, сильно

¹⁰ Батик — палка с железным шаром и зубцами на конце. — *Примеч. авт.*

перетревожился, известясь, что Назаров рискнул слабыми силами и перешел в наступление, но узнавши о нашей малой потере, успокоился. Мы встали во фронт, я на правом фланге; Штемпель в самых милых выражениях благодарил всех и за отбитие штурмов, и за вылазку; я получил на свой пай несколько очень лестных слов, до слез меня тронувших.

Оказывается, что bravому Штемпелю прибежали сказать: «Назаров перепоял людей и убежал с ними в город!» — было от чего сконфузиться и поспешить на место действия! Впрочем, по боку это, лучше думать, что это неправда.

Насчет схваток моих было немало шуток и смеха: о первой рассказывал только мой «спаситель», — другие, подбежавшие после, не застали этого поединка. — «Слышу, — говорит, — ревут, спасите! — я туда, вижу Василий Васильевич, белехонек, как смерть, борется со старым сартом, тот его уж одолевает...» Вторая «оказия» была на большой улице в виду у всех; ее видели и офицеры и подтрунивали потом надо мной: «Что, Василий Васильевич, каково вас в лавку-то зазвали?» или: «Василий Васильевич, расскажите, как у вас, говорят, ружье чуть не отняли!..» Признаюсь, меня внутренне, невидимо, конечно, для посторонних, душил, как кошмар, вопрос: почему я не пустил в дело револьвер? В кармане был небольшой «Смит и Вессон», неважного, правда, калибра, но достаточный, чтобы убить человека на таком близком расстоянии, и я его не пустил в ход — почему? А просто потому, что забыл о нем. Часто потом и днем, и ложась спать и просыпаясь, когда, обыкновенно, перебираешь свои поступки, я мысленно возобновлял в уме все перипетии этих схваток, мысленно хватался за револьвер, стрелял раза два, даже три, или делал то, что сделал солдат, т. е. вырывал у врага штык из рук и снова всаживал, уже в самые внутренности... Утешаясь несколько мыслью, что солдату это легче было сделать, так как мне пришлось держать замахнувшуюся руку с батиком, я все-таки не мог себе простить моей недогадливости и только сравнительно недавно успокоился на уверенности, что самое пустое дело иногда не сразу дается...

Было очень жарко. Не имея в эту минуту под руками книжки моих заметок, не могу сказать, какие это были именно числа месяца, но знаю, что был конец мая; солнце палило страшно и трупы, облежавшие наши ворота, начали издавать невыносимое зловоние, которое приходилось терпеть, так как непрерывно нападали на нас и, не рискуя большой потерей людей, нельзя было выйти за стены. Теперь, когда стало поспокойнее, Назаров решил сделать еще вылазку для уборки тел; цепь оберегала нас, пока мы занимались этим приятным делом, главную долю которого пришлось вынести на себе, несмотря на то, что я брезглив насчет трупного запаха. Поверят ли — никто не хотел приступить, так как всех солдат тошнило; еще Черкасов, кажется, распорядился, но милейший Воронеж, после нескольких попыток, отошел красный от слез... Нечего делать, я всаживал штык в известное место и проталкивал тела до большого арыка, т. е. канавы. Около самой стены валялась серая лошадь, павшая еще в первый день, в одно из бешеных нападений на нас; я видел ее тогда сильной, прекрасной, очевидно, под каким-то начальником, налетевшим во главе толпы под полный заряд картечи и рухнувшим вместе с ней — его тут же подхватили и утащили свои, а лошадь лежала теперь вздутая до невероятных размеров. Как только мы тронули ее с места, она, уже обратившись в настоящий кисель, треснула по всем швам и разлезлась; тут была сцена, трудно поддающаяся описанию: все мы лоском легли, т. е. не в буквальном смысле, а в том, что все в судорогах, скорчившись, а некоторые ползком, отошли прочь — никакой, по-видимому, возможности работать! Однако, кое-кто доброй волей, некоторые после строгого приказанья, взялись за эту тушу, утащили ее, подобрали остатки и прочее и прочее.

Между солдатами, надобно заметить, мало было таких, которые охотно шли вперед на верную опасность, только некоторые были замечательно храбрые ребята: например, Иванов — крепкий, толстоголовый блондин, лезший решительно всюду, как будто не разбирая, есть опасность или нет; что у него было на душе — не знаю, но снаружи он казался совсем пассивным. Он уцелел за эти дни самаркандского сидения, но, помнится, мне говорили потом, что он был убит в одной из экспедиций.

Благодаря неуклюжести этого храброго детины, мы все, находившиеся для стрельбы в башне, в числе 15-20 человек, чуть раз не погибли: осаждающие что-то работали под самыми стенами — подозревалось, не делают ли подкопа под стену, к чему поползновения у них были; поэтому, чтобы не рисковать людьми для вылазки, надобно было бросить несколько ручных гранат. Взялся бросить Иванов; он влез на укрепленные сверху балки, перешептываясь и любовно перебранываясь с товарищами: «Чего стоишь-то, давай! — Бери, да ты ступай выше! — Куда выше-то, ступай сам, что ли!» — А и то пойду, что ты думаешь!..» Наконец, взял в руки гранату, размахнулся, подбросил — и она упала посреди нас... Все ошалели — и я в первую минуту, признаюсь, в том числе; потом, сообразивши опасность, я как заяц выпрыгнул оттуда с криком: «Спасайся, братцы!» Все, в том числе и Иванов, успели выбежать; раздался взрыв, тем более страшный, что он был в тесном пространстве, поднявший и разбросавший массу кирпичей и камней. Уж досталось же потом Иванову от товарищей. Надо было слышать, как они пилили его: «Ну что было бы, Иванову, кабы ты нас всех убил, а? — Нет, ты скажи, что бы было, ведь ты и Василия Васильевича положил бы!» Иванов не знал, куда деваться от конфуза. Уж я заступился раз: «Да оставьте вы его, что бы ни было — дело прошлое, что вы его корите!» Но при первом же случае шутники опять начали: «Так, как же, Иванов! как ты нас взорвать-то хотел...»

Мы узнали, что с первого же дня осады комендант отправил гонца из туземцев к генералу Кауфману с обязательством воротиться и принести ответ. Так как этому джигиту обещали за исполнение комиссию 100 рублей и еще какую-то награду, то полагали, что коли он не явился, значит, убит, что и подтвердилось потом. Каждый день майор Серов приискивал надежных людей, которые, за вознаграждение, все более и более увеличиваемое, брались уведомить командующего войсками о нашей незавидной участи. Комендант писал маленькие записочки по-немецки, в которых уведомлял, что приступы не прекращаются, мы начинаем ощущать недостаток в воде, в соли, убитых и раненых много — по числу гарнизона, чуть не половина. Словом, положение делается критическим... Ответа не было! Мне рассказывали потом, — не знаю, верно ли это, — что после сильного приступа второго дня комендант собрал военный совет, на котором решено было драться до последней крайности, и если одолеют, т. е. войдут в крепость, то собраться всем в ограду эмирова дворца, еще защищаться, сколько будет возможно, и затем взорваться — вот спасибо!.. Назаров, как тоже рассказывали, был не согласен с этим решением и брался, коли придется уступить крепость, за невозможностью защищать ее, пробиться с остатками гарнизона до главного отряда. Хотя мнение его не было принято, он говорил будто после, что так бы и поступил, т. е. на свой страх стал бы пробиваться. Что касается Штемпеля, то с этого тщедушного, морщинистого, любезного, но молчаливого русского немца, едва, впрочем, владевшего немецким языком, стало бы исполнить решение и отправить нас всех сначала на воздух, а потом туда, откуда никто еще не возвращался.

Мы, молодежь, тогда ничего этого не знали и были далеки от мысли, что такие кровожадные решения приняты нашими командирами. На третий же день, по сведениям, собранным Серовым от лазутчиков, сделалось известно, что генерал Кауфман идет к нам на выручку, о чем комендант и объявил гарнизону, для ободрения его, но в этой вести была только доля правды. Как узналось после, дело обстояло так: из наших джигитов, посланных с помянутыми известиями к Кауфману, ни один до него не добрался — всех их перехватили и всем перерезали горло, несмотря на то, что они пробирались пешком, или, вернее, ползком. Генерал же, побивши бухарцев под Зера-Булаком, действительно, остановился и далее не пошел, что и было тотчас, по обыкновению, быстрее ветра, сообщено туземцами своим единомышленникам в Самарканде и значительно побавило у них куража.

Разбивши эмира, Кауфман собрал военный совет для решения вопроса идти вперед или воротиться. Приятель мой, генерал Гейнс, советовал идти немедленно на Бухару, разрушить ее и там предписать мир эмиру; генерал Головачев подал противоположное мнение: он указал на неполучение вестей из Самарканда, на настойчивые слухи о том, что город этот в восстании, крепость, по одним —

штурмуется, а по другим — уже взята восставшими жителями, вместе с подошедшими шахрисябцами. Генерал Кауфман, сам очень обеспокоенный неполучением вестей от нас, присоединился к последнему мнению, что и спасло нас; пойдя отряд в Бухару, нам бы не удержать крепости. Лично я, например — смело могу сказать, если не самый ретивый и неутомимый из защитников, но один из таковых — начинал чувствовать усталость; после сильного приступа второго дня, сам про себя, т. е. совершенно искренне, я занялся вопросом: а что, если так будет еще несколько дней хватит сил или нет? Я решил, что вряд ли...

Правду говорят, что Господь умудряет младенцев: один Г. был очень умный, талантливый человек, другой Г. был храбрый, но не очень умный и без особенных талантов — первый, однако, ошибся, а второй угадал; спасибо ему за это, а главное — мир его праху, так как он умер потом в черном теле: замешанный против воли в кляузном деле материальных интересов, он должен был подать в отставку.

Несмотря на оповещение, что главный отряд идет к нам на выручку, дни проходили, а о помощи не было ни слуху, ни духу. По-прежнему у нас, с утра до вечера, была перестрелка и иногда то там, то сям нападения, далеко, однако, не такие отчаянные, как прежде. Мы видели, что число атакующих было меньше, но только после узнали, что войска Шахрисябза, опасаясь мщения Ярым-падишаха, т. е. полуцаря, как они называли генерал-губернатора, стали отходить и вскоре совсем улетучились.

Наши купцы так ободрились за это время, что целой гурьбой, под покровительством жившего вместе с ними военного интендантского чиновника, отправились к стенам — посмотреть и себя показать — но увя! Отец командир, интендантский начальник, был немедленно же убит, наповал, и вся компания воротилась домой с тем, чтобы более уже не любопытствовать.

Делать большие вылазки мы более не стали, так убыль в людях была и без того слишком велика и комендант не хотел рисковать, но выжигать прилегающие к стенам дома ходили. Назаров выжег все по направлению от Бухарских ворот к той дороге, по которой должен был войти отряд, не без задней мысли, как сам он признавался — показать командующему войсками, что следовало бы ему сделать перед уходом для обеспечения крепости.

Надобно сказать, что генерал Кауфман, не говоря о многих других чудных его качествах, был еще человек высокой доброты: он не дал пальцем тронуть жителей, когда занял Самарканд, и, конечно, не мог решиться уничтожить треть города вокруг крепости и разорить столько народа, ничем еще официально не провинившегося; этим только и можно объяснить то, что он ушел вперед, не приведя крепость в тылу в состояние возможности обороняться.

Хлеба у нас было довольно, вода плоха, соли, как сказано, недостаточно, мясо тоже было, но сена для лошадей и скота не хватало, пришлось предпринять фуражировку по всем правилам военного времени. Мы прошли тайным проходом под стеной, который обыкновенно был завален, залегли в цепь и перестреливались с окрестными садами, пока солдаты-косари выстригли порядочную площадку клевера; тогда мы, тихо ретируясь, пошли опять в крепость, почти без потерь.

В ожидании скорого освобождения, наш начальник артиллерии решил отомстить той мечети, с минарета которой били по нашим раненым. Купец Трубчанинов, зная мою слабость к мечетям, известил меня:

— Василий Васильевич, ведь штукатурку-то отбивают!

Штукатуркой он называл фаянсы, которыми мечеть была выложена и которыми, он знал, я восхищался.

— Где, как?

Я бросился к М. и едва-едва уговорил его пощадить минарет, в который уже было пущено несколько ядер.

На пятый или шестой день осады, не помню хорошенько, появился под воротами человек,

махавший бумагой. Назаров не велел стрелять и подозвал его. Здоровенный бородатый детина, очевидно, не из трусов — потому что подошел под самый огонь наших ружей — показал имевшееся у него писание, не по-нашему, и полковник поручил мне провести его к коменданту. Я взял бумагу, вскинул ружье на плечо и повел этого посланца, державшегося, надобно сказать, с большим достоинством; перед входом в эмиров двор, где был наш парк, раненые и прочие, я завязал ему глаза носовым платком, сказавши по-туземному:

— Не бойся.

— Я ничего не боюсь, — отвечал он.

Взявши за плечи, я протащил его до комнаты коменданта, где снял с глаз повязку. У Штемпеля в это время был Серов, хорошо владевший туземным языком. Он принял бумагу, просмотрел и начал бранить моего парня самыми отборными, непечатными словами: оказалось, что он принес нам предложение о сдаче. «Спасенья вам нет, — писали заправители восстания, — слайте крепость, мы пропустим вас свободно».

— Больше ничего не надобно? — спросил я начальство.

— Ничего, можете идти.

Я воротился и сообщил нашим как о предложении нам сдаться, так и о немилостивом приеме, сделанном комендантом этому предложению.

Солдатики столько раз уже слышали о том, что идут, идут нам на выручку, что когда никто не являлся, стали опять поговаривать: «Видно, нам здесь зимовать, забыли о нас». Наконец, на сельмой день рано утром въехал в ворота, со стороны отряда, молодой джигит, благополучно проехавший туда и привезший назад ответ генерала. Мы смотрели на него как на спасителя, и невзрачная, грязная физиономия его, повязанная еще грязнейшей тряпицей, положительно казалась нам вдохновенной! Впрочем, он, по-видимому, сознавал важность исполненного поручения и, кроме понятного довольства своим подвигом, предвкушал, вероятно, и удовольствие получения награды в 300 рублей, вместе с Георгиевским солдатским крестом. «Держитесь, — писал генерал Кауфман коменданту, — завтра я буду у вас». Какое же грянуло по всей крепости «ура!» когда сделалось известно содержание этого письма! Конечно, восставшие поняли, что дело их проиграно и, кроме нескольких отчаянных голов, не беспокоили более нас серьезно. Оказалось, что это был первый из посланцев, добравшийся до отряда, шедшего уже обратно, остальные шесть человек были перехвачены и убиты.

Перестрелка по-прежнему продолжалась, даже вышла тревога, небольшое нападение вечером, но эпопея, очевидно, приходила к концу.

Эту ночь главный отряд ночевал недалеко от города, хорошо слышал нашу перестрелку и генерал Кауфман особенно беспокоился нашими пушечными выстрелами. Г. рассказывал мне после, что командовавший войсками не спал всю ночь, все боялся, как бы не взяли крепость. Мы же и стреляли из пушек только для того, чтобы показать, что еще держимся.

На другой день, как ни упрашивал меня Назаров и офицеры встретить вместе отряд, я ушел в свою саклю и в первый раз после восьми дней лег на чистую простыню. Хотелось заснуть, но не мог, нервы были слишком напряжены. Я лежал в полудремоте, когда ворвался ко мне Николай Николаевич Назаров.

— Василий Васильевич! У меня свежий батальон, пойдём город жечь?!

— Нет, не пойду, — отвечал я.

— Пойдем!

— Не пойду.

— Так не пойдете?

— Нет.

— Ну, я пойду один, пусть скажут, что Назаров сжег Самарканд!!!

Скоро огромный столб дыма дал знать, что Назаров время не потерял — весь громадный базар запылал.

Добрейший Кауфман, понимавший, что надобно будет дать пример строгости, очевидно, нарочно провел предыдущую ночь, не доходя несколько верст, чтобы дать возможность уйти большому числу народа, особенно женщинам и детям, зато теперь он отдал приказ примерно наказать город, не шадить никого и ничего. Один военный интендантский чиновник, бывший в числе добровольных карателей, рассказывал, что «вбегает он с несколькими солдатами в саклю, где видит, старую, престарую старуху, встречающую их словами: аман, аман! (будь здоров). Видим, говорит, что под рогожами, на которых она сидит, что-то шевелится — глядь! а там парень лет 16; вытащили его и пришибли, конечно, вместе с бабушкой».

Солдатам дозволили освидетельствовать лавки, и чего, чего они оттуда не натаскали! Нельзя было без смеху смотреть, как они одевались потом во всевозможные туземные одеянья, одно другого пестрее и наряднее. За несколько рублей можно было купить у них целые сокровища для этнографа.

А что погибло в пожаре старых, чудесной работы, деревянных и мраморных, дверей, колонок и прочего, то и вспомнить досадно!

Назаров потешился и с лихвой заплатил городу за те беспокойства, ему причиненные в продолжение памятных восьми дней осады; особенно выместил он злобу на мечети Ширдари, с минарета которой так метко стреляли из фальконетов по нашим больным, раненым и по артиллерийскому парку. «Всех перебил в проклятой мечети», — хвастал он потом. Так как у меня был в этой мечети знакомый мулла, человек вежливых манер и, казалось мне, редкой начитанности, которого я, признаюсь, втайне подозревал в помянутой злой стрельбе по нам, но участь которого меня все-таки беспокоила, то я расспросил подробно одного из офицеров, участвовавших в истребительном подвиге Назарова, много ли и какого народа нашли они в мечети. «Нет, не много, — отвечал он, — все разбежались, подлецы!» Я вздохнул свободно. «Только один старикашка мулла попался, поверите ли, как кошка удрал по лестнице на самый верх минарета».

-Ну?!

— Ну, конечно, сбросили его штыками оттуда.

- Уф!!

* * *

Как теперь вижу генерала Кауфмана на нашем дворе, творящего, после происшедшего, суд и расправу над разным людом, или захваченным в плен с оружием в руках, или уличенным в других неблагоприятных делах. Добрейший Константин Петрович, окруженный офицерами, сидел на походном стуле и, куря папиросу, совершенно бесстрастно произносил: «Расстрелять, расстрелять, расстрелять, расстрелять!»

Случайно остановясь посмотреть эту процедуру, я увидел, в числе подведенных, и моего знакомого парламентаря, подошедшего к нашим воротам с предложением о сдаче.

— Неужели и его расстреляют? — спросил я генерала Г., тут же стоявшего. — Я знаю этого человека за храброго и порядочного.

— Скажите Константину Петровичу, — отвечал он, — для вас его отпустят.

Нелегкая меня дернула, прежде чем обратиться к генерал-губернатору, сказать коменданту:

— Майор, за что это хотят наказывать этого парламентаря, ведь он, помните, держал себя порядочно?

— Напротив, он был дерзок, позвольте уж мне лучше знать.

И прочее и прочее.

Я видел; что вмешательство мое неприятно Ш. и отступился: одним больше, одним меньше!..

Над парламентаром, между тем, был уже произнесен роковой приговор и, должно быть, он понял, потому что его просто в пот бросило. Выходя со двора, бедняга спросил только «попить»; ему дали воды, он вышел, обтерся полой и покорно зашагал по пути в ту область, где нет «ни печали, ни вздыхания»... и где не нужно будет никому предлагать сдать.

Государь приказал наградить защитников Самарканда, так же как во время оно был отблагодарен отряд Воронцова на Кавказе — тремя наградами: чином, крестом и деньгами; тотчас собравшаяся дума кавалеров Георгиевского ордена присудила этот крест единогласно и, если не ошибаюсь, первому — Василию Васильевичу, чему этот последний, по правде сказать, удивился: воевал я не щадя живота, но не сделал, казалось мне, ничего такого, что подходило бы под весьма строгий статут ордена. Должно быть, «подогнали» дело к спасению орудия.

КИТАЙСКАЯ ГРАНИЦА. НАБЕГ

1869

Путешествуя по китайской границе, я свернул к укреплению Борохудзиру, бывшему крайним пунктом наших владений в стороне Кульджи, от пикета Алтын-Имельской станции, что по дороге из Верного в Ташкент. Перевалив через невысокий хребет, тянущийся вдоль почтового пути, я сразу почувствовал перемену — стало теплее и тише, не так ветрено. Мы остановились отдохнуть и переменить лошадей в кочевке управителя Алтын-Имельской волости, в палатке у хорошенькой киргизки, его родственницы.

Хозяйка рассказала о своем горе: недавно умер муж ее.

Я ответил, что дело для нее поправимое, найдет другого, но она замахала руками: «Нет, нет, как можно»; «ики балача бар», т. е. двое ребятишек у меня!

— Ну так что же, еще двое будут, не скучать же тебе всю жизнь одной.

Она отчаянно махнула рукою на мою нескромную речь и поприлежнее наклонилась над своей работой — приготовлением войлока для киргизских сапог, который делается так: на камышовую переборку от юрты, разостланную по земле, она накладывала размягченную шерсть, ряд к ряду, в требуемую длину и ширину, смачивая и закатывая. После довольно продолжительного катанья получился тонкий войлок, который она свернула еще вдвое, подложила на места схода краев еще шерсти, еще помочила и снова стала скатывать — вышел войлочный цилиндр в толщину ноги. По этому, уже хорошо скатанному, войлоку выложила от руки же узоры, цветной шерстью, и потом еще стала катать.

Пока я наблюдал за этим нехитрым производством, пришел управитель волости со свитой и, между разными разностями, рассказал, что его киргизы, мстя не раз грабившим их таранчам¹¹, в свою очередь отбарантовали¹² недавно много скота и захватили немало мелкого добра, даже серебра; но губернатор, генерал Колпаковский, известясь об этом их подвиге, рассердился и приказал все возвратить, — обстоятельство, о котором собеседники мои глубоко скорбели и причину которого никак не могли сообразить. В кои-то веки довелось побаловаться, пограбить, и вдруг награбленное с опасностью жизни возвращать! Тем более это было обидно, что барантовали они у народа, возмущившегося против

¹¹ Устаревшее название илийцев, крупной этнографической группы уйгуров.

¹² Баранта — у тюркских кочевых народов угон скота, как способ мести за обиду или вознаграждение за причиненный ущерб.

китайского владычества, не имевшего теперь над собою сильной руки и поэтому бесцеремонно обращавшихся с собственностью соседей, наших киргизов.

К вечеру добрались мы до первого из трех пикетов, расположенных по пути к отряду. И вечер, и ночь были чудные, точно в мае, слегка прохладные и светлые, хотя стоял уже октябрь.

* * *

Следующий день быть пасмурный, по временам мочил дождик, а на горах в это время падал снег, как белой скатертью покрывавший весь хребет. После пятидесятиверстного переезда добрался я до пикета № 2. Поохотился за дрофами и зайцами, которых тут было великое множество, и, усталый, расположился ночевать на открытом воздухе.

Не тут-то было, однако; не мог заснуть от страшного лая и вытья собак.

— Да уйми ты, братец, как-нибудь своих собак! — говорю пикетному казаку.

— Никак невозможно, — отвечает он, — их теперь ничем не унять, потому зверя близко чуют.

— Какого зверя?

— Тигру.

— Разве есть здесь тигры?

— И! просто такое множество; по речке вот, с гор, почитай что каждую ночь приходят.

— А близко подходят к вам?

— Да к самой избе; вот где вы лежите, тут завсегда уж вынюхивают.

— Так, пожалуй, я напрасно так далеко расположился, не откусили бы они мне носа?

— Храни Бог! как можно; ежели как подойдут — собаки беспрерывно дадут нам знать, зальются...

В уверенности, что собаки зальются и тем своевременно дадут знать, я славно заснул и благополучно проспал всю ночь.

Утром на другой день я поехал далее, сначала довольно ровной местностью, вдоль невысоких холмов, мимо нескольких мазарок, т. е. киргизских гробниц, затем ущельем, очень глубоким и узким. Бока ущелья состояли из песчаника самых разнообразных, ярких цветов: красного, фиолетового, желтого и других— право, если представишь такие цвета на картине, не поверят, скажут: приврал художник!

Я не утерпел, чтобы не пострелять горных куропатов, со всех сторон перекликавшихся и стаями перебежавших дорогу. Мимо нескольких одиноких юрт, рассеянных там и сям по ущелью, начавшему расширяться, добрались мы и до пикета № 3. Отсюда, поднявшись еще на крутую гору, начали уже совсем спускаться, прямо к месту расположения пограничного Борохудзирского отряда. На встретившихся тут кочевках я видел киргизов, собиравшихся на охоту с беркутами. Этих диких птиц укрощают и приручают тем, что закрывают колпачком глаза и дают спать в продолжение двух-трех недель, постоянно встряхивая. На той же руке, на которой его носят и кормят сырым мясом, что позволяет, после полета птицы, зазвать ее снова на руку обрывком красной материи.

Почва становилась более и более глинистою, по краям дороги рос мелкий камыш, из которого поднимались иногда целые стаи диких уток. Забелелись, наконец, вдали казармы отряда; слышно было, как играли знакомую зорю. Миновав поселение калмыков, выбежавших в наши пределы из Китая от возмущения мусульман (дунган и таранчей), я въехал в четырехугольник зданий, образующих казармы.

Начальника отряда не было дома; в его отсутствие меня очень любезно принял ротный командир, поручик Эман, и предложил свое нехитрое, но уютное помещение, от которого, конечно, я не отказался, потому что был совершенно налегке — ни палатки, ни юрты с собой не было.

Узнав, что я еду смотреть и рисовать, Эман вызвался проводить меня завтра же до первого китайского городка Тургеня, всего в трех верстах от речки Борохудзир. Вообще, впрочем, он сообщил мало утешительного для моих будущих занятий: все пограничные китайские городки, по словам его, были совершенно разрушены, не столько мятежниками таранчами, сколько нашими солдатами, строившими из тамошних балок и кирпичей свои казармы хозяйственным способом. Экономия казне от этого могла бы быть значительная, если бы только здешнее начальство распорядилось не так, как в Т** отряде, где строили казармы из леса и кирпичей, выломанных в городе Чугучаке, но каждое бревно и каждую тысячу кирпичей ставили казне по справочной цене. Впрочем, «это уж самим Богом так устроено и вольтерьянцы напрасно против этого восстают».

Далее реки Хоргос, по словам Эмана, нечего было и думать ехать, ибо я наткнулся бы там, по всей вероятности, на пикет таранчей. На мой вопрос: «А что будет, если я попробую довериться гостеприимству тарачинских властей?» Эман ответил: «Худого, может быть, ничего не сделают, но из одной подозрительности задержат вас и, пожалуй, потребуют выкупа».

Подумавши, я согласился не рисковать, не ездить за Хоргос, хотя и очень хотелось мне попасть в город Чампандзи за этой рекой, покинутый жителями, но совершенно сохранившийся, как рассказывали. В Кульджу пробраться и думать было нечего, да вряд ли и стоило, так как таранчи и дунгане жили в мусульманской Кульдже, а китайская, наиболее интересная, в которой до возмущения имел местопребывание дзян-дзюн (генерал-губернатор), стояла пустая, более чем наполовину разрушенная и подмытая рекой Или.

* * *

Речка Борохудзир, еще несколько лет тому назад бывшая далеко впереди нашей границы с Китаем, теперь протекала под самыми стенами четырехугольника казарм, с орудиями по углам, представлявшего укрепление, совершенно неодолимое для воинов степей.

Постройки, благодаря сухому даровому материалу, очень недурны, хотя низки и тесноваты. При казармах садик, покамест еще тощий; лавочка со всяким нужным товаром, а главное, хорошие бани — все мало ли, много ли, способное усладить досуг неприхотливых воинов, заброшенных в эти дальние углы нашей необъятной родины. Офицеры, разумеется, скучают тут, урываясь возможно чаще в город Верный, где есть и женское общество, и кое-какие общественные развлечения и удовольствия.

Доходишки офицерские — разумею, безгрешные — теперь сильно пообрезаны, особенно в пехоте, хотя, например, с продовольствия ротных лошадей или с освещения все-таки перепадает кое-что ротному командиру, перепадает совершенно уж «без греха»; «Потому что, — говорил Эман, — если я зажгу в казармах все полагающееся количество свечей, то подумают, что я или захотел сделать иллюминацию, или сошел с ума!»

В этом же роде говорил и милый, весьма образованный артиллерийский офицер Г.: «Невозможно скормливать лошадям все, что отпускается по положению, — они падут на ноги». Вот и остается в руках экономия, усиленная еще тем, что в этих благодатных местах четверть ячменя покупается, например, по рублю, а справочная цена уплачиваемая казною, три рубля — разница немалая.

Впрочем (говорю о том, что было 30 лет тому назад), командир взвода, т. е. двух орудий, волей-неволей обязан был составлять экономию, чтобы доставлять ежегодно по две тысячи своему батарейному командиру, который на прием и карточную игру должен был иметь десять тысяч рублей, сверх положенного: не внести следуемой доли значило потерять командование частью — *s'etait a prendre ou a laisser*. Повторяю, «так бывало в старину».

Заговорив об этих старых порядках, я припоминаю, что рассказывали в Ташкенте о командире батареи М., который из всех русских песен, по его собственному будто бы признанию, особенно любил «Возле речки, возле моста, трава росла — зеленая, шелковая, муравая»; эту песню он не мог

хладнокровно слушать:

— «Господи! — говорил он будто бы каждый раз чуть не со слезами на глазах, — кабы на этой речке, да на такой травке, да батарейку... да хорошие справочные цены!.. Умирать бы не надо!»

* * *

Здесь места, обезлюдившие после кровавого возмущения в Китае, недавно перешли в наши владения; они были заняты сметливыми офицерами, главным образом, разумеется, потому, что плохо лежали, официально же под предлогом, что тут протекает речка с чистой, здоровой водицей. Неудивительно будет, если государственная граница передвинется еще на 100 верст вперед, когда дальше отыщется водица с леском! Наш передовой пикет был уже на той стороне речонки, благо там нашлось для него пригодное место — развесистое дерево, на котором устроили площадку для дозорного казака, птицей обзиравшего окрестность; несколько других таких же птиц располагались внизу в тени дерева. Когда мы с Эманом направились к Тургеню, дежурный с этого гнезда подъехал к офицеру с рапортом о благополучии пикета и окрестности — я подозревал, что это было сделано для меня, приезжего.

Городок Тургень оказался небольшим селением, обнесенным стеной. Все в нем было разрушено, так что надежды мои видеть здесь более, чем в Чугучаке, совершенно улетучились. Эман утешал тем, что в самом дальнем из доступных для обозрения городов, Ак-Кенте, я найду много неразрушенного и любопытного.

На другой же день я отправился туда в сопровождении нескольких казаков и телеги, нагруженной вещами и провизией, между которой два живые барана непрерывным, отчаянным блеянием перебудоражили, вероятно, волков, шакалов и тигров всей окрестности.

Следующее за Тургенем поселение Джаркент¹³ тоже порядочно разбито; в кумирнях бога повреждены, фрески на стенах перепачканы и обезображены. Однако, несмотря на то, что оросительные каналы заброшены, сохранилось немало чудесных тополей и кара-агачей. Фазанов было такое множество, что они буквально поминутно взлетали из-под ног.

В третьем городке, Тишкенте, я тоже не останавливался, и довольно густым, прохладным после знойной степи, леском¹⁴ добрался до Ак-Кента (ак — белый, кент — поселение).

* * *

Городок, действительно, оказался много целее других; например, дом управителя, игильдая (полковника), отлично сохранился, с галереей внутри двора, с фигурным раскрашенным навесом, сплошь разрисованными стенами, с драконами на крышах и прочим. Прелестная беседка в цветнике сохранилась в том виде, как, вероятно, была покинута кайфовавшими тут за трубкой опиума китайцами.

В одном месте я наткнулся на сооружение чисто туземных характера и архитектуры — яму, служившую тюрьмой, вроде знаменитых подземных клоповников Бухары и Самарканда, только меньших размеров. Тюрьма эта шла в землю неглубоко, на сажень с небольшим, и около сажени же была в диаметре; стены суживались кверху бутылкой, до отверстия не более аршина в поперечнике, так что человек едва мог пролезть. Надобно думать, что сидевшие на этой «гауптвахте», как называли ее мои казаки, были не недовольны возмущением, позволившим им улизнуть, в общей суматохе, из такого злачного и прохладного места.

¹³ Современный город Жаркент (с 1991) на территории Казахстана, в Алматинской области. В 1942-1991 гг. носил название Панфилов.

¹⁴ Так и случилось: этот лесок был причиной того, что граница наша вскоре передвинулась вперед еще на 100 верст. — *Примеч. авт.*

Главная кумирня города тоже хорошо сохранилась: в ней я устроил себе резиденцию на все время работы в этом местечке. Постоянно, день и ночь, горели у меня на дворике два огромные костра, для парки пищи и очищения воздуха, благо сухого дерева не занимать было стать. Воды только не было близко, за нею приходилось посылать за пять верст, все же остальное имелось у нас.

Наша живая провизия, бараны, чуть не наклепали нам беды от тигров, подхлотивших по утрам к самым стенам кумирни. Мяуканье-рычанье их составляло наш ежедневный утренний концерт, к которому мы, пожалуй, прислушались бы и привыкли, может быть, открыли бы в нем, кроме оригинальности и силы, также и известную прелесть, если бы не постоянная боязнь, что одна из этих зверинок, наиболее голодная, не утерпит и прыгнет к нам через ограду — прыгают ведь тигры удивительно высоко! Бывшая с нами собачка до того трусила при этих рычаньях, что забивалась куда-нибудь глубоко, с головою.

Зато волкам, собиравшимся иногда перед нашей калиткой стаями, пес наш преисправно и прехрабро вторил, когда те неистово выли, тоже, должно быть, из желания завязать знакомство с милыми барашками. Иногда, когда хор волков выводил какую-нибудь тоскливую, вероятно, только очень голодному понятную, ноту, я выскакивал, потерявши терпение, за ворота с револьвером и стрелял направо и налево: точно брызги разлеталась эта трусливая команда в разные стороны.

Впрочем, относительно тигра мы были почти уверены, что он схватил бы разве барана, а может быть, и собачку, но нас бы не тронул. Очень редко, только в случае крайнего голода, они нападают на людей; вообще же, хотя их много здесь, они ведут себя смирно, вероятно, потому, что и люди их не трогают. Здесь мало стреляют тигров — нет ни деревьев, ни слонов, как в Индии, например, а стрелять в тигра с одного с ним уровня до крайности опасно: почти нет вероятия убить его одним выстрелом, не убитая же, только раненая, даже и тяжело, животинка эта, наверное, наскочит и разорвет стрелявшего.

Можно с уверенностью сказать, что тигр и сильнее, и ловчее льва, а живучесть его изумительна.

Только когда тигр начинает уж очень много портить скота, киргизы собираются на него большими партиями, подкарауливают спящего, разом набрасываются и убивают; но и тут не всегда еще одолеют зверя, а он, наверное, перепортит много народа.

Солдаты здесь, при перевозке дерева и кирпича из китайских поселений, часто встречались с тиграми, которые постоянно уходили или даже убегали, только иногда оглядываясь и облизываясь на волов: нападать же на людей они не решались, конечно, без вызова.

Вообще, по моему опыту, проверенному во многих странах, и лично, и рассказами бывалых людей, рассказы о свирепости диких животных преувеличены. Человек своей вертикальной фигурой внушает непреодолимый страх всем остальным тварям и надобно, чтобы крупный зверь был очень голоден, а мелкие, как волки, были в большом числе, чтобы отважились напасть на прохожего, не делающего им зла и не несущего оружия. Это последнее если и пугает мелких зверей, то всегда раздражает больших, умеющих прекрасно различать намерения человека.

Конечно, исключения бывают во всем: в Индии случается, что тигр или тигрица, в особенности когда они стары и не могут уже преследовать и напасть на быстроногих и сильных животных, попробовавши человеческого мяса, находят его таким вкусным, а процедуру добывания этого рода пищи такой легкой, что начинают питаться только людьми, почему и называются в окрестности людоедами (man-eater).

Однако, возвращаясь к Ак-Кенту. Работы свои, заметки и этюды масляными красками я чередовал с охотой, в особенности на фазанов, которых в камышах было видимо-невидимо. Часто попадались и дикие свиньи, но я не стрелял их по боязни, как бы раненый кабан не вздумал попробовать крепость своих клыков на моих ногах — они на это мастера. Местами бывали, должно быть, и тигры: после

выстрела по фазану, иногда так шибко ломался и склонялся камыш в одном направлении, так что-то рычало, сердилось, что, очевидно, какие-то большие звери утекали, изъясняя свое неудовольствие. В этих случаях я тоже обыкновенно ретировался в более открытые места.

* * *

Схватившая меня сильная лихорадка не дала очень заработать в этих местах. Наскоро окончив начатые этюды, я возвратился к Борохудзиру, откуда уже располагал уехать в Ташкент, как вдруг расчеты мои перевернулись и мне снова пришлось направиться через Ак-Кент, как раз по желанному пути к Кульд- же, через Хоргос.

* * *

Три дня спустя по приезде моем в отряд пришла «летучка» из Лепсинской станицы, расположенной к северу от Борохудзира, с уведомлением командира казачьего полка о том, что, догоняя киргизов, угнавших у него табун лошадей, он перешел через границу, отбил почти всех украденных коней, да еще в возмездие захватил 20 тысяч голов разного скота; киргизов же Кизяевского рода, произведших этот дерзкий грабеж, побил и прогнал по направлению к озеру Лоб-Нору. Он предлагал начальнику нашего отряда встретить бегущие кочевья с юга и еще раз поколотить, чтобы на долгое время отбить охоту барантовать в русских пределах.

Маленький отрядец наш, скуцавший бездействием, встрепенулся и схватился сейчас же за это известие, как за предлог почесать руки, давно уже зудевшие. И думать было нечего, конечно, идти к Лоб-Нору, а тем более ловить там каких-то киргизов, хотя для вида об этом и толковали, даже рассматривали карту. Зато офицеры смекнули, что теперь или никогда — случай перейти границу и пощипать соседей, на совести которых было давно уже несколько дерзких грабежей и даже убийств.

Отдан был приказ выступить в ту же ночь.

Хотя лихорадка не совсем еще оставила меня, я, конечно, присоединился к экспедиции, в чаянии повысмотреть и порисовать в китайских пределах.

Силу снарядили великую: 60 человек пехоты, неполную сотню казаков и одно орудие. Пехота выступила еще ночью. Несмотря на приказ раньше залечь спать, чтобы хорошенько подкрепиться сном, перед набегом, — который должен был быть быстр и, следовательно, утомителен, — никто в казармах, как перед большим праздником, не ложился спать: одни с шутками и прибаутками собирались, другие с шутками же и смешками горевали, что им приходилось отстать от товарищей, остаться караулить казенную «хур- ду-мурду».

Начальник отряда, brave майор Н., с артиллерией и казаками выступил ранним утром: к этим конным пристроился и я. Мы догнали нашу пехоту уже около второго городка, обогнали ее и сделали вместе привал за Ак-Кентом, в Сассах, т. е. в камышах, откуда возили мне воду за время занятий тут.

Мы шли без шума, очень скоро и в сумерках подошли к полуразрушенной постройке на реке Хоргос, где пехота, сделавшая с утра около 80 верст, остановилась отдохнуть, а мы двинулись через реку далее.

Уже темнело. В этой ограде оставлен был обоз, под прикрытием 30 человек солдат, так что за нами пошло пешей рати тоже только 30 человек.

Около реки была растительность, но далее за камышами она исчезла, и к городу Чампандзи мы вышли на совершенно гладкую местность.

И стены, и дома этого города показались мне в темноте громадными: так как, подходя, я просто спал в седле от усталости¹⁵, то естественно, что сонные глаза поражались темными массами ворот.

¹⁵ Мы сделали в 18 часов около 120 верст. — Примеч. авт.

кумирен, театров и прочим. На правой руке у нас была высокая стена крепости; у ее ворот мы, т. е. казаки и артиллеристы, расположились отдохнуть, дожидаясь зари, когда предполагено было устремиться на расположенное в 12 верстах отсюда селение Мазар со стоявшим там, по слухам, отрядом в 400 человек таранчей. Надобно было подойти к ним не поздно, чтобы застать их врасплох и не дать отогнать далеко стада, составлявшие главный предмет наших вожделений. Кстати сказать, казаки у нас были сибирские, не теперешние лихие сыны этого войска, а только еще начинавшие правильно формироваться, непривычные, не одетые, необученные. Когда я увидел их собравшихся в поход, я просто ахнул: один был в полушубке, другой в длинной шубе, у третьего шубейка мехом кверху, у четвертого с верха до низу заплата на заплате. Шапки и высокие и куцые, и широкие, мохнатые... Ружья были кремневые, самые новые стволы 1840-х годов, некоторые же носили клейма прошлого столетия, — словом, эти были ни дать ни взять казаки Трубецкого 1612 г. под Москвой — хоть сейчас рисуй их за таких.

Я побродил немного по крепости и ближним улицам; насколько можно было различить в темноте, многие здания хорошо сохранились: видны были живопись, барельефы, драконы, завитки и разные затеи.

Окрестные жители шибко ломали постройки, увозя дерево и кирпич, грудами сложенные во многих местах.

Лишь только показался свет, мы сели на коней и выступили; впереди казаки, потом артиллерия, сначала шагом, потом рысью и, наконец, во весь опор! На правой стороне от нас, к стороне знаменитой Кульджинской долины, видно было много поселений, но не попадалось в этот ранний час ни души из жителей.

Впереди показались дымки двух деревень, сначала Большого, потом Малого Мазара (мазар — гробница¹⁶).

В голове отряда у нас ехали два китайца, чиновник со слугой, служившие проводниками. Сын Неба, по мере приближения к тем местам, откуда он несколько лет тому назад едва унес свою голову, начинал видимо трусить, вероятно, смущаясь нашей малочисленностью. «Смотрите, — настойчиво твердил он, — если встретятся таранчи, не троньте их, а то они известят своих в Кульдже и нам отрежут путь отступления!» — «Ладно, там видно будет, кто кого отрежет», — отвечали ему.

Версты за две до деревни мы понеслись марш-маршем¹⁷, едва не завязли всем отрядом в каком-то затопленном поле и вихрем внеслись в поселение!..

Батюшки мои, что за суета там поднялась! Несколько человек перебежали через дорогу, спасаясь в свои дома; казакам показалось невозможным допустить это: «Стой, стой, — раздался их голоса, — держи их, не допущай, не допущай!»

Деревенька оказалась крохотная, всего в несколько дворов, в одном из которых собрался весь наличный люд: бледные, буквально дрожавшие от страха и, видимо, ожидавшие себе конца. Военного отряда тут не было.

Я слез с лошади и пошел к одной сакле. «Смотрите, ваше высокоблагородье, не сделали бы они вам худа!» — предупредил меня казак; но беднякам было, очевидно, не до нападения на нас; они сгибались, низко кланялись и, не смея поворотиться спиной, отступали, пятясь назад. Только молодые женщины смотрели с меньшим страхом, как-то особенно пытливо — видно было, что любопытство пересиливало боязнь.

¹⁶ Мазар (араб, гробница) — могила мусульманского святого, место паломничества. Илийские уйгуры (таранчи) исповедуют ислам.

¹⁷ Военный термин — очень быстрое движение (устар.).

Всех мужчин позвали к начальнику отряда; они не шли; пришлось тащить — они упирались. Жены и дети пошли за ними следом с воем и причитанием; судя о наших порядках и обычаях по своим, они, конечно, ожидали смерти для мужчин и плена-неволи для женщин. Признаюсь, я бы охотно удержал у себя в неволе одну молодую особу, должно быть, дочь почетного человека, смотрителя гробницы: немного татарский, т. е. скуластый, овал лица и прорез глаз, но прелестные и личико и фигура, а гнева никакого, только удивление.

Из расспросов майора оказалось, что в этой деревне живет всего несколько семейств при гробнице святого, а в следующей, рядом, действительно стоит отряд в 100 конных таранчей, наблюдающих за границей, как мы имели случай убедиться, наблюдающих очень плохо, так как наш налет был чистым сюрпризом для них.

В эту вторую деревню, окруженную высокою стеной, послали 10 человек казаков, но жители не впустили их, успевши затворить ворота, перед которыми майор и приказал казакам стоять, сторожить, чтобы кто-нибудь из конных не улизнул и не дал знать в Кульджу. Так как всех лошадей в окрестности мы захватили, то конных гонцов, для созыва воинства, жители не могли разослать. Тем временем несколько партий казаков были посланы в разные стороны собирать скот, по мере подхода загонявшийся в очень обширную ограду гробницы, где расположилось и наше орудие.

* * *

Я пошел осматривать гробницу, представляющую большую святыню не только для местных, но и для всех среднеазиатских мусульман. Она построена Тамерланом, или «Хромым Тимуром», над могилой Тоглук-Тимура¹⁸, знаменитого Джагатайского султана, при котором Тамерлан начал свое бурное и громкое поприще.

Здание прекрасной постройки, но купол уже провалился и туча птиц поднялись оттуда при моем входе.

Самая гробница, громадных размеров, когда-то богато украшенная, теперь в очень жалком виде, была лишь грязно вымазана простой глиной. Зато фронтон здания до сих пор покрыт глазурованными кирпичами чудной работы — что за цвета и краски, что за работа!

Очень хотелось мне вынуть несколько образцов цветных кирпичей, и, конечно, жители охотно сделали бы это, но я не решился так распорядиться и ограничился несколькими обломками, а теперь жалею. Сколько я знаю, ни в одном из наших музеев нет образцов цветной глазури от этого памятника Тамерланской эпохи.

* * *

Стали сгонять скот и целые облака пыли вместе с ним; однако крупного скота — лошадей, коров, верблюдов — оказалось мало.

Вот прискакал казак с известием, что сбежавшийся из соседних аулов народ не дает скотину, затевает драку. Начальник отряда послал 10 человек подмоги, с приказанием не стрелять, чтобы не пугать окрестность, а действовать больше по мордасам и в крайних случаях шашками. Кусочек, который казаки тут отнимали, оказался тысячи в четыре голов. Я не понимал, кто и как погонит к границе всю эту массу овец, уже и здесь в ограде заявлявших о своем намерении не покоряться участи: влезет козел на стенку, обозреет окрестность, прыг через, да и давай утекать во все лопатки, а на нем, конечно, спасаются десятки и сотни четвероногих — ловят их, гонят назад! А что за бляение, что за шум — трудно и передать. Казаки поминутно таскали сначала яблоки и груши, потом войлоки и

¹⁸ Тоглук-Тимур — основатель и хан Могулистана, родоначальник династии, правившей в Восточном Туркестане до 1570-х гг. Происходил из дома Чагатай (Джагатай), в 1374 г. стал ханом восточных владений Чагатайского (Джагатайского) улуса. Его государство включало Восточный Туркестан, территории в Южной Сибири, Семиречье и междуречье Амударьи и Сырдарьи. После смерти Тоглук-Тимура государство распалось.

разную домашнюю рухлядь. Я пошел посмотреть, откуда это они раздобывают, и к ужасу моему нашел, что все в домах было переломано, разбросано, разбито. Кое-где бродили наши люди, ища «еще чего-нибудь!» При этом все, что нельзя было захватить с собой, должно быть, в наказание, ломалось, уничтожалось: попалась связка медных денег — разбросана по сторонам; книги — по листам и по ветру, или в печку. Везде клочья, обломки, обрывки. Дверь в мечеть выломана; дровки с пучками лошадиных волос повалены, символы мусульманской святости переломаны; жертвенные рога, украшающие обыкновенно все среднеазиатские могилы, разбросаны — что за срам! Чисто дух разрушения обуял наших воинов.

Я оставил этот печальный осмотр, потому что уже трубили сбор и отряд выстраивался для обратного выступления. Вплоть до Борохудзира, т. е. на протяжении 130 верст, приходилось теперь гнать набарантованные нами стада, которые, конечно, туземцы станут отбивать.

Как только казаки, сторожившие ворота второй деревни, отошли, чтобы присоединиться к нам, оттуда стали один за другим выезжать вооруженные всадники, проделывавшие сначала разные воинственные эволюции и затем правильно выстраивающиеся; выехал белый значок и отрядец открыто принял угрожающее положение.

Также со всех сторон стал собираться народ, вооруженный копьями и шашками, в правильные сотенные части; ружей у них было мало. Лишь только мы тронулись назад, все эти отряды двинулись за нами с очевидным намерением развлечь скуку нашего отступления атаками.

Неприятель начал правильно облагать нас одним сплошным кольцом; уже явилось множество значков разных цветов и одно огромное, ярко-красное знамя — по величию и по той огромной толпе, которая его окружала, вероятно, сопровождавшее начальника. С дикими криками и гиканьем они стали обскакивать нас.

Раздалась команда: «Орудие с передков!» и затем «Первая!» Не столько самый снаряд, ядро, сколько гром выстрела мгновенно обратил в бегство всю вражью силу, хотя ненадолго — они оправились, загарцовали, загикали снова, еще пуще прежнего.

* * *

Я ехал с моим казаком поодаль от отряда и, признаюсь, забавлялся, подпуская неприятельских джигитов на самое близкое расстояние; когда они, не видя оружия, ползезжали в упор и уже заносили копьё — я направлял мой карманный револьвер прямо в физиономию смельчака, шелкал курок и... пригнувшись к седлу, отлетали они так же быстро, как налетали. После нескольких неудачных попыток захватить меня врасплох, они подлетали уже менее стремительно и держались на более почтительном расстоянии.

Это воеванье было уморительно: «Кель мунда!» (Ступай сюда), кричали они, маша рукой и прибавляя крепкое словцо. — «Ех, санда мунда кель!» (Нет, ты ступай сюда), отвечал я, каюсь, тоже добавляя соленое выражение.

Вот она первобытная борьба «один на один», которая в былые времена всегда предшествовала серьезным делам — недоставало только богов с обеих сторон, ободрявших, помогавших и направлявших руки воюющих; конечно, так воевали греки с троянцами, так перебранивались, так же отнимали, отгоняли стада, — только прекрасная Елена в нашем случае отсутствовала или, вернее, заменилась баранами.

Туземцы, видимо, держались известной повадки: всячески дразнили движениями и словами, вызывая на выстрел, от которого ловко увернувшись, уже смело бросались вперед, с шашкой наголо или пикой наперевес — шестиствольный револьвер, однако, сбивал с толку эту ловкую тактику.

Казак мой, вопреки совету, не утерпел раз, чтобы не выстрелить в очень надоедавшего ему молодца, да, не успевши зарядить ружье, и перетрухнул, ударился прочь, когда тот с криком налетел

на него; я отвел нападавшего револьвером и выговорил казаку: «Как не стыдно тебе бежать от такого волка? — Да ружье разряжено, ваше высокоблагородие, а шашкой от пики где же оборониться! — Зачем тебе заряжать, ты сделай вид, что опустил пулю, хлопни по ложе и прицелься — смотри как побежит прочь!» Вышло как по писаному: лишь только мы поехали пошибче, чтобы догнать отряд, как несколько джигитов бросились следом; казак остановился, хлопнул по своему незаряженному ружью и прицелился в передового — только мы их и видели.

* * *

Однако положение наше начало принимать серьезный характер: со всех сторон нас обскакивали, облегали и круг стеснялся, все более и более нажимая на нас. Уже впереди дорога нашего отступления была перерезана. С гиком, визгом, гамом кружили со всех сторон на расстоянии ружейного выстрела тысячи конного народа — видно, успели-таки разослать всюду гонцов оповестить окрестность о нашей малочисленности и созвать охотников душить нас и отбивать скот.

Отдельные джигиты и целые группы их подскакивали вот-вот совсем близко и едва не отхватывали часть баранов. Кабы не солдаты, присоединившиеся тут и расположившиеся на больших интервалах, по сторонам нашего шествия, казакам никак бы не уберечь добра.

Казаки, не только первый раз бывшие в огне, но и вообще плохо дисциплинированные, видимо, чувствовали себя неладно. Когда послали один взвод завязать перестрелку, то, выехавши на небольшое расстояние, они исполнили приказание вяло, неохотно и, пострелявши в продолжение нескольких минут, воротились назад.

Да и то сказать, воевать с ружьями, какие были у них — трудно. Не помню, одно или два ружья только были пистонные, остальные все кремневые, и браный конник никогда не был уверен, что его пищаль выпалит, скорее он должен был рассчитывать на противное: вспыхнет порох, поднимется белый дымок, в виде маленького фейерверка и только. Зато, если ружье выпалит, то удивленная и довольная физиономия казака, поворачивается к товарищам: «Накось! ишь ты! Взяло!»

Выговоривши взводу за слишком вялое действие, начальник отряда выслал другой, но с этим дело обошлось совсем не благополучно. Ему велено было выехать подалее, а он забрался слишком далеко: не слыша сигнала, призывавшего его назад, он забирался все далее и, наконец, увидевши невозможность двигаться далее на сплошную массу неприятеля, не останавливаясь, поворотил назад, да не шагом, а крупной рысью, так что когда враг с гиком ударил в сипну, до марш-марша было уже недалеко и казаки понеслись: «Спасайся, кто может!»

Не бывавшие в военных делах понятия не имеют о том, как легко паника охватывает отступающих с поля битвы, в кавалерии это сильнее, чем в пехоте, потому что от выстрелов и криков с тыла лошади закусывают удила и несутся бешено, неудержимо! Просто глазам не верилось! Казаки стлались, спасаясь во весь опор от летевших за ними и лупивших их влогонку степняков. Некоторые из наших, сбитые с лошадей пиками, утекали по пешему способу, вприпрыжку, как зайцы; некоторые были уже проткнуты и прорублены. Я поскакал наперерез: «Стоп, стой! Такие сякие!» — и, влетевши в середину взвода, очутился в самой середине погрома: один раненый, проткнутый в пазуху, ревел благим матом, продолжая утекать; другой, на бегу же вцепившись в направленную на него пикку, просто тащил за собой всадника... Таранчи и киргизы с визгом наотмашь били бежавших!

Первое, что я немедленно же получил в награду за вмешательство, был удар пикой по голове, благодаря гладкой бобровой шапочке моей счастливо скользнувший: если бы не это случайное обстоятельство, удар, конечно, не только бы оглушил меня, но и вышиб из седла¹⁹.

Я в упор выстрелил, но противник, ловко увернувшись, набросился с пикой наперевес, за ним

¹⁹ Этот удар долго давал себя потом чувствовать. — *Примеч. авт.*

оказались другой, третий...

Крепко обозлившись на удар по голове, я намеревался выпустить на них заряды револьвера... когда кто-то схватил меня сзади за руки — оборачиваюсь, добрейший Ф., наш казачий сотник: «Бога ради, стойте, вас непременно прирежут».

Тут сигнальный рожок призвал нас к отряду и месть волей-неволей пришлось отложить — как ни обидно было, съевши лизуна, не дать сдачи.

Казачи, остановились, наконец, открыли пальбу; одни стонали от боли, другие оживленно переговаривались, препирались, оправдывались один перед другим в случившейся беде, — видимо, беспокойство стало овладевать людьми, сознавшими свою малочисленность и неловкость положения, среди густых масс неприятеля, который делался все более и более дерзким; начал даже напирать на орудие — того и смотри отхватит!

Нашей лучшей защиты, пехоты, было очень мало, потому что из 30 человек 10 я посоветовал послать для занятия ворот и стен крепостцы Чампандзи. Это было необходимо, потому что займи неприятель укрепление, через которое шла дорога, нам было бы совсем плохо; теперь же солдатики, перебегая по гребням стен и отпаливаясь во все стороны, значительно охлаждали пыл врагов, нет, нет, да и сбивая с седла наиболее зарывавшихся.

На счастье наше, у противников наших было мало огнестрельного оружия, так что преградить нам выход из города и путь к границе они могли только массой, грудью, а на это у них не хватало решимости.

Эман, присоединившись к отряду с 20 солдатами, тоже принес порядочное стадо, тысячи в две голов, и толкотня, теснота у нас увеличились, разумеется, еще более.

Дорога, особенно под аркой узких городских ворот, до того была запружена, что все перемешались: тут и бляяло, и ржало, и мычало, кричало, шумело, распоряжалось — ничего не разберешь. Влобавок, над нами стояло такое большое, такое густое облако пыли, что не видно было ничего; будь только неприятель попредприимчивее, ударь тут на нас с хорошим гиком, хоть 10 человек, все бы растерялось и перестреляло друг друга и отряд наш, наверное, был бы уничтожен.

Было отчего прийти в отчаяние, один из старших офицеров даже вскрикнул с горя: «Если выход занят — мы пропали!» Я тихонько напомнил ему о том, что казаки кругом нас и слышат его...

Казачи, большие охотники распоряжаться, без толку сновали из стороны в сторону и срывали сердце на наших волонтерах, китайских эмигрантах, испуганными взорами окидывавших нашу и неприятельскую силы и, по-видимому, очень сомневавшихся в благополучном исходе предприятия, в каковом случае их головы, конечно, прежде других отделились бы от туловищ. Один «гаврилыч», под шумок, даже наклал в загривок какому-то майору Небесной империи, да так быстро, что не было времени вступиться; и, должно быть, наложил солидно, потому что союзник забыл зевать по сторонам и отдался всецело присмотру за баранами, что и требовалось.

Теперь еще менее, чем утром, довелось осматривать постройки города, не до того было, так как, спасаясь от всей этой убийственной сумятицы, мы с Эманом протискались поскорее вперед: там, под закрытием полуразрушенных построек, толпы неприятеля ожидали выхода отряда. Недолго думая, мы схватились за наше оружие, товарищ за пашку, я за револьвер, и с криком «ура!» подхваченным бывшими с нами шестью казаками, бросились в атаку! Как же перетрухнуло все воинство, нам угрожавшее, как оно рассыпалось в разные стороны!

Тут насмешил меня один казак, пресерьезно советовавший не преследовать далее, так как «из-за крайних саклей стреляют».

— Ну так что же, что стреляют?

— Да ведь пулями стреляют, ваше высокоблагородие!

Бесконечное стадо наше, а с ним и мы уже выступили из города, на ровную поляну, когда пришло приказание от начальника отряда остановиться: «Бу- дем-де ночевать в крепости». «Невозможно!» — решили мы с Эманом. Мыслимо ли защищаться в этих руинах, возможно ли поворачивать теперь назад наших четвероногих, а главное — неужели дожидаться, чтобы к завтрашнему утру собралось вокруг нас все Кульджинское население, которое тогда действительно задушит отряд — тогда не только баранов не угнать, но и самим не уйти.

Мы решили, послушавшись, возможно поспешать к реке Харгос, где кроме воды есть еще и большой защищенный оградой двор, тот самый, в котором остался наш обоз, под прикрытием 30 солдат.

— Пойдем, черт побери, — решил Эман, — пойдем далее, хоть бы мне за это попасть под суд!

Он уведомил начальника отряда, что поворотить стадо нет теперь никакой возможности, и мы, не теряя веселого расположения духа, продолжали наше движение.

Я слышал потом, как один из бывших с нами тут казаков рассказывал товарищам: «Этот штатский полковник просто беловый! Вертят папироски с ротным да, впересмешку друг перед дружкой, и идут прямо на киргизов».

Думаю, что все бы обошлось благополучно, если бы мы не были чересчур великодушны: солдатам своим не велели остаться и ожидать приказания начальника отряда, т. е. лишили наш авангард единственной поддержки, способной внушить спасительный страх неприятелю, и вся многотысячная масса скота, растянувшаяся уже на двух верстах, не имела иной защиты, кроме нескольких, до полусмерти перепуганных китайцев с их традиционными луками и стрелами, нас двоих, да немногих казаков — этих последних из шести осталось только трое, так как другие, видя опасность, под разными предложениями, улетучились.

— А ведь на нас сейчас ударят, — говорю я товарищу.

— Может ли быть, — хладнокровно отвечает финляндец. Он потерял на привале свои очки и теперь тщетно поворачивал близорукие глаза, выпуклые зрачки которых ничего не видели далее нескольких сажень.

— Вот, посмотрите, сейчас ударит!

— Да где вы их видите?

— Как где? Это-то что же кругом? — говорю, указывая на массы, нас облежавшие.

— Будто все это неприятель? Представьте себе, ведь я думал, что это кусты?

— Неужели, однако, вы до такой степени плохо видите?

— Да; помните место, где мы закусывали в Сассах, там я оставил мои очки и глаза вместе с ними.

Ну, думаю, хорошо иметь такого зрячего товарища.

— А это что такое, это высокие предметы — это деревья?

— Нет, это знамена, смотрите, сколько их тут?..

— А!! Как страшно! Этого я не предполагал?

Только что успел я послать одного из казаков к начальнику отряда с известием об опасности и для нас, и для баранов наших, как все кругом дрогнуло, застонало и, потрясая шашками и копьями, понеслось на нас! Признаюсь, минута была жуткая. Эман опять с шашкой, я с револьвером, но уже не гарцуя, а прижавшись один к другому, кричим: «ура!», — и... ожидаем нападения.

Без сомнения, из нас были бы сделаны отбивные котлеты, как то случилось с одним из бывших около нас двух казаков (другой успел удрать), но мы спаслись тем, что, во-первых, неприятель больше зарился на наш скот, чем на нас самих; во-вторых, Эман, а за ним и я, свалились с лошадей: сослепу

мой товарищ заехал в ров и, полетевши через голову, так крепко ударился лбом о землю, что остался распростертым. Моя лошадь споткнулась об него: я тоже слетел, но успел удержать узду и, вставши над лежавшим, не подававшим признака жизни, приятелем, левой рукой держал повод лошади, а правой — отстреливался от миглом налетевших и со всех сторон окруживших нас степняков: так и норовили, подлещи, рубнуть шашкой или уколоть пикой, но или выстрел, или взвод курка удерживали их, не подпускали слишком близко. Едва успеваю отогнать одного, другого, от себя, как заносят пику над спиной Эмана, третий тычет сбоку, четвертый, пятый сзади — как только я не поседел тут! Признаюсь, я думал, что товарищ мой ловко притворился мертвым, но он мне рассказывал после, что страшно ударился при падении и только, как сквозь сон, слышал, что ходили и скакали по нем. Счастье наше было то, что эти господа, видимо, считали револьвер мой неистоцимым: я выпустил только четыре заряда, понимая, что пропаду, если буду еще стрелять, и больше страдал: уже пики приближались со всех сторон и исковерканные злостью физиономии скалились и ругались на самом близком расстоянии...

Затрудняюсь сказать, сколько времени продолжалось мое неловкое положение — мне-то казалось долго, но, в сущности, вероятно, не более двух минут как вдруг все отхлынуло и понеслось прочь так же быстро, как и принеслось: это подбежали к нам на выручку солдаты: — лошадь Эмана промчалась мимо них, унтер крикнул: «Выручай, братцы, ротного убили!» — и они все бросились, сломя голову, вперед.

Затем прискакало орудие, лихо снялось с передков и после первого выстрела не осталось никого около нас, а после второго и около баранов, отогнанных было, но снова теперь нами захваченных. Надобно сказать, что все это случилось очень быстро, быстрее, чем я рассказываю, и сопровождалось сильнейшим шумом: с бранью налетали киргизы, с бранью я отстреливался, с бранью стреляли солдаты, с бранью же, наконец, взмахнул шашкой и Эман, когда, очнувшись и вскочив на ноги, успел еще рубнуть одного из всадников, конечно, усакавшего умирать.

Очевидно, шум и крики входили в систему устрашения у нашего неприятеля, да отчасти и у нас самих. Впрочем, и в наиболее дисциплинированных войсках, во время действия, потребность пугать неприятеля и подбодрять себя шумом сказывается еще в наше время.

С удовольствием вспоминаю я, как Эман бросился мне на шею благодарить и как славно мы с ним расцеловались. В немногих словах он рассказал, как, будто в кошмаре, слышал, что его топчут, но подняться не мог. Он понял, что подвергался опасности получить несколько дырочек на свой новый полушубок и что я отвел эту опасность.

Не теряя времени, мы бросились отбирать наши трофеи, т. е. баранов, к счастью, не успевших далеко уйти. Таранчи и киргизы, несмотря на умение обращаться с ними, так заторопились, что напугали животных, и те, вместо того чтобы идти вперед, повернули мертвым кругом, т. е. так, как обыкновенно гоняют баранов по степи, когда не хотят, чтобы они разбродились и шибко переходили с места на место. В такую-то мертвую и заходил отхваченный у нас косяк и, несмотря на все усилия огромной толпы, его погонявшей, он передвинулся всего на несколько сажень. Два снаряда, пущенные через головы неприятелей, окончательно отняли у них охоту препираться за добычу и они усакали без оглядки.

* * *

Надобно сказать здесь, что именно эта атака послужила мне образцом при исполнении потом картин: «Нападают врасплох» и «Окружили — преследуют». Офицер, с саблей наголо, ожидающий нападения, в первой из этих картин, передает в некоторой степени мое положение, когда, понявши серьезность минуты, я решился, коли можно, отстреляться, а коли нельзя, так хоть не дать легко в руки налетавшей на нас «орды». Конечно, многое в этих картинах и изменено, кое-что, например, взято из свежего в то время рассказа о нечаянном нападении известного Садыка на небольшой русский

отряд, посланный на розыск его, — нападения, случившегося перед самым приездом моим в Туркестан, на местах, по которым я проезжал. Так как и этот факт я взял не в целом составе, а заимствовал из него только нужное, наиболее характерное, то немало пришлось потом слышать нареканий за то, что картины мои небывальщина, ложь, клевета на храброе туркестанское воинство и т.п. Даже разумный, добрый и хорошо ко мне расположенный генерал К. П. Кауфман публично укорял меня в том, «что я слишком дал волю своему воображению, слишком насочинял».

* * *

Небезынтересно, что в самую опасную минуту человека не покидает забота о сравнительных мелочах: когда неприятельская конница гикнула, полетела на нас и мы поняли, что будем сейчас изрублены, я, вместо того чтобы обменяться с Эманом мыслями о защите, только сказал ему:

— А ведь баранов-то отобьют у нас!

— Отобьют, — ответил он, — скверно!

— Ничего, после опять отнимем!

И все это, и мои вопросы, и его ответы, перебрасывалось между криками ура! и потрясанием нашим оружием, шашкою и револьвером.

Казака, с нами бывшего, совсем порубили, буквально искололи и иссекли. Он еще дышал, когда его подняли и положили вместе с другими ранеными на лафет орудия, но бедный воин вскоре умер; перед смертью он поднес ко рту изувеченную правую руку с перерубленными пальцами, да так и застыл. Жутко было смотреть на его вытянутую фигуру, державшую кольцом руку перед самым носом, точно в насмешку над кем-то.

* * *

Неприятель опять начал собираться вокруг нас густыми толпами и по ним очень успешно действовало наше орудие. Я просто любовался, как добрейший и мирнейший Р. вылетал на позицию, марш-маршем выскакивал далеко вперед к неприятельским группам: «Орудие с передков! Первая!»... и прежде чем храбрые, но недисциплинированные противники наши успевали рассыпаться, выстрел частенько вышибал несколько всадников сразу. Сейчас же подхватывал он пушку, во весь опор подлетал к другому угрожаемому пункту, и там «первая» снова давала знать о себе.

Все время крик и шум были страшные — всякий командовал. Покажется казаку, что там, где он находится, опасно — сейчас же он кричит благим матом: «Орудие сюда давайте! Орудие! Скорее!» Орудие наше было героем дня. При выходе из Борохудзира, Р. мечтал лишь о том, чтобы сделать парочку выстрелов, для реляции; но действительность превзошла самые смелые его надежды, потому что пришлось стрелять не переставая и он выполнил выпавшую на его долю службу так, что, признаюсь, во множестве дел, которых участником мне доводилось быть, ни разу я не видел более блистательного действия орудия — все наши люди, солдаты, казаки и китайцы, забывали и об опасности, и о баранах, засматриваясь на «жарившую» пушку.

Одного калмыцкого полковника я не мог видеть без улыбки: колчан, набитый стрелами, за спиной; в руках — готовый к смертельному действию лук; он только вздумает натянуть стрелу, как любопытства одолеет его и, весь перевернувшись на седле, он следит испуганным и любопытным взором за движениями и действиями орудия; на беду еще полковник этот был близорук, и на кончике носа его были воздвигнуты величайшие из когда-либо виданных мною очков — просто, умора! Казалось, он мечтал: «Вот, кабы нам, китайцам, побольше таких орудий, мы бы сумели с ними распорядиться — мигом оставили бы их в неприятельских руках!»

Впрочем, и у нас дело едва не доходило до этого: в коротких промежутках, между выстрелами, так налегали на орудие, что начальник отряда стал, вероятно, опасаться за исход нашей экспедиции.

Мы ехали в авангарде с Эманом, который уже опять восседал на своем чудесном иноходце, чуть было не попавшем в руки врагов, когда майор, сильно смущенный, подъехал к нам.

— Кажется, придется бросить баранов!

— Что вы, майор, ни сотни нельзя уступить — срам! — говорю ему.

— Да ведь орудия отнимут, напирают так, что стрелять не дают!

Эман ускакал туда присмотреть. Я сначала съездил в арьергард, сколько мог успокоил казачков, потом остался распоряжаться впереди.

И пришлось же понукать и браниться! Солдатам достаточно было только сказать и с ними забота была лишь о том, чтобы они не стреляли попусту, в пространство, и не рисковали бы таким образом остаться без патронов, но казаков приходилось постоянно то подгонять, то разгонять и бранить: собираются в кучки и передают друг другу разные страхи, вместо того чтобы делать дело, т. е. возможно поспешнее гнать вперед стада, растянувшиеся теперь на добрых четырех верстах расстояния.

* * *

Уже смеркалось, когда мы подошли к первым рукавам реки Харгос. Наконец-то!

Выстрелов из орудий не было слышно в тылу, но солдатики, шедшие в цепи, по сторонам, постреливали еще.

Оставшиеся в обозе, за оградой, солдаты рассказывали, что таранчи подъезжали к ним, уверяли, что отряд наш рассеян, уничтожен и предлагали уходить: «Мы де вас не тронем», но в ответ им выставили ружья и посоветовали убираться к черту под хвост.

С величайшим трудом и — нечего и говорить с каким шумом — наши трофеи были переправлены через реку и загнаны в ограду, из которой майор соорудил укрепление, совершенно недоступное для преследовавших нас полчищ. По стенам, внутри и снаружи, были рассыпаны стрелки, казаки поставлены в большой порядок, орудие в воротах.

Предосторожности эти оказались очень не лишними, потому что вслед за наступившей было передышкой, вдруг — когда уже совсем стемнело — раздался со всех сторон адский визг и гик толпы подступающих... Выстрелы, хотя и неправильные, наугад, быстро отняли охоту у неприятеля повторять опыт, и мы провели ночь сравнительно спокойно.

* * *

После вчерашней закуски на привале в Сассах, я ничего не имел во рту, если не считать пары груш, найденных и съеденных в Мазаре, — груш, очень вкусных, но далеко не достаточных для заморения червяка, начинавшего теперь, на сравнительном покое, давать знать о себе. Я просил достать мне хоть что-нибудь поесть так действительно и угрожал в противном случае умереть с голода так решительно, что отыскался кусочек говядины и старые лепешки, показавшиеся мне, конечно, очень вкусными.

На другой день мы готовились к таким же хлопотам, но, сверх ожидания, довелось выступить ранним утром совсем спокойно. Только часа два спустя показался в тылу неприятель, державшийся, однако, вдали, по холмам, вне наших выстрелов.

Должно быть, потерявши накануне немало народа, они решили не пробовать более счастья и проститься с отбитым скотом издалека.

Отдохнувши опять на том же месте в Сассах, где, мимоходом сказать, к великой радости Эмана, нашли его очки, мы без дальнейших приключений добрались до Борохудзира.

* * *

Так кончился наш набег. Прекрасная Елена была разделена, — разумею баранов, в данном случае

игравших роль красавицы гречанки. Все нижние чины получили по два барана, урядники по пяти, офицеры по 50, начальник отряда — не помню сколько, кажется, 200. Остальные — тысяч пять-шесть, вместе с небольшой дозой рогатого скота, были, по приказанию военного губернатора, проданы и вырученные за них деньги приобщены к каким-то казенным суммам.

А пораненные казаки? Что им делается, поболели, да и выздоровели.

А изрубленный казак? Гм! Ну, изрубленный-то, конечно, умер, зато похоронили его с честью, всей командой, с музыкой и залпом; на последней демонстрации разряжены были все ружья, оставшиеся заряженными с похода. Так и тащили беднягу с рукой, поднесенною ко рту — даже крышку гроба пришлось из-за этого делать выше обыкновенного.

Не обошлось без шутки: похоронный рожок так старательно выводил все один и тот же однообразный, даже не мотив, а какой-то оклик, что я спросил Р., что это он наигрывает?

— Разве вы не знаете, — отвечал он, — это спрашивают мертвого: «Ты куда? Ты куда-а? Ты куда-а-а-а!»

* * *

Был и эпилог нашего похода «за похищением руна».

Начальник отряда получил сведения о том, что таранчи собирают огромные силы — 40 тысяч человек будто бы собираются разлавить борохудзирский отряд. Для подъема фуража этому войску согнано будто бы 1000 верблюдов и т.д. в том же роде.

Правда эта была или нет, в отряде, на всякий случай, приготовились встретить гостей. Прежде всего послали разъезд для высматривания неприятеля, затем приказано было казакам держать лошадей оседланными; запаслись сухарями на случай осады, и оружия стали делать репетицию новой маленькой комедии, нам обещанной. В то же время майор П. послал донесение о случившемся и просил о подкреплении отряда.

Все эти приготовления и ожидания разрешились очень скоро и весьма неожиданным образом: после двух дней, проведенных в непрерывной тревоге, получено, наконец, известие о том, что идет сила — и какая!

Прискакал казачий разъезд! — лошади в мыле — «скакали не останавливаясь 20 верст. Неприятель гнался за ними, но они успели спастись!.. не могут сказать, сколько неприятеля!.. они видели только передовых... а там дальше за камышами — видимо-невидимо!..»

Ударили тревогу; в несколько минут все встало на ноги; орудия по углам, стрелки у окон и амбразур!

— Вот, посмотрите, как мы начнем их сейчас валять, — говорил мне начальник отряда, расхаживавший по двору и поминутно отдававший приказания.

В ожидании этого «валянья», которое что-то замедлилось, мы пошли с Эманом допивать чай в его комнату, куда вскоре, хохоча и бранясь, вошел и майор П.: «Ах, подлецы, ах, мошенники, ах, трусы негодные; представьте себе, что они сделали!» И рассказывает: «Третьего дня был высланы разъезд из восьми человек наших киргизов, с приказанием проследовать до рек и разузнать, не собираются ли таранчи на отместку нам. Так как разъезд долго не возвращался, то я послал еще 10 человек казаков тоже окрестности осмотреть, да и киргизов кстати разыскать. Двадцать верст наши воины прошли благополучно, но тут вдруг увидели, что из-за камышей выезжают вооруженные люди, один, другой, третий!.. Недолго думая, “гаврилычи” назад! Киргизский разъезд — так как это он возвращался, не встретя ни одной вражеской души — поскакал следом за ними: “Стой! Стой! Послушайте! Мы ваши, вы наши!..”» Не тут-то было. Казаки еще пуще удирать — скакали, скакали до самого отряда, который и перебудоражили известием о приближении неприятельской рати...

* * *

Все участники этого набега были награждены орденами, но моя награда была лучшая. Узнав из донесения военного губернатора Семиреченской области генерала Колпаковского об участии, которое довелось мне принять в этом деле, генерал Кауфман сделал мне ручкой и сказал: «Спасибо, спасибо за спасение Эмана!»

* * *

Два слова о драматической смерти Эмана: образцовый строевой офицер, исполнительный и разумный, он несколько лет потом прекрасно шел по службе, будучи на самом лучшем счету у своего начальства. Связь с дрянной женщиной, которую он притащил из г. Верного в отряд, втокнула его в проступок: он растратил 5000 казенных денег и свалил беду на разбойников, якобы ограбивших его на эту сумму в дороге. Когда, после следствия, арестовали и осудили совершенно невинных людей, честная натура Эмана взбунтовалась: он написал письмо с разъяснением дела, просил отпустить невинно осужденных, если возможно, простить ему... и застрелился.

ДУНАЙ

1877

Приехавши в Кишинев и переодевшись в плохонькой гостинице, я пошел в главную квартиру армии. Добрый генерал Галл представил меня господам Непокойчицкому, Левицкому и другим, а также, к большому моему удивлению, молодому генералу Скобелеву. «Я знал в Туркестане Скобелева, — говорю ему... — Это я и есть! — Вы! может ли быть, как вы постарели; мы ведь старые знакомые». Скобелев порядочно изменился, возмужал, принял генеральскую осанку и отчасти генеральскую речь, которую, впрочем, скоро переменял, в разговоре со мной, на искренний дружеский тон.

Он только что приехал. Над его двумя георгиевскими крестами, полученными в Туркестане, подсмеивались и говорили, что «он еще должен заслужить их». Я хорошо помню, что эта последняя фраза понравилась в главной квартире и повторялась, так же как и высказанная одним молодцом уверенность, что «этому мальчишке нельзя доверить и роты солдаты».

Узнавши, что я пойду вперед вместе с отцом его, М. Д. просил ему передать о скором своем приезде: он был назначен начальником штаба к отцу своему, Дмитрию Ивановичу Скобелеву, командовавшему передовой казачьей дивизией: назначение не особенно почетное для генерал-майора с Георгием на шее, командовавшего перед этим областью!

* * *

Отряд Скобелева-отца состоял из полка донцов и полка кубанцев в одной бригаде, полка владикавказцев и осетин с ингушами в другой. Первой бригадой командовал полковник Тутолмин, неглупый, добрый человек, большой говорун; второй полковник Вульферт, георгиевский кавалер за Ташкент, куда он первый вступил при штурме. Насколько Т. любил говорить речи, настолько В. любил молчать.

Полковыми командирами были: у донцов Денис Орлов, живой и симпатичный, хороший товарищ; у кубанцев Кухаренко, сын известного на Кавказе генерала, сам имевший вид бравого кавказца, оказавшийся впоследствии болезненным, нервным. Владикавказцами командовал полковник Левис, полурусский, полушвед, толстый, красный, добродушный и бравый словом, претипичный воин. Его интересно было наблюдать на лагерной стоянке, когда, гуляя с заложенными назад руками около своей палатки, он очень часто заходил в нее, опрокидывал в рот рюмку, снова гулял, снова прикладывался и т.д. Полковой командир ингушей и осетин — русский фигурой и фамилией, кажется, Панкратьев.

Я помещался в хате со стариком Скобелевым. У него была таратайка и пара лошадей, на которой

мы выезжали утром, по выступлении войск. Догнавший отряд, Скобелев надевал огромную форменную папаху, садился на лошадь, объезжал полки, здоровался с офицерами и казаками и затем опять садился в таратайку, причем папаха отпавлялась под сиденье, а на смену ей вытаскивалась красная конвойная фуражка. Д. И. командовал несколько лет тому назад конвоем Его Величества и носил конвойную форму. Когда мы подъезжали к деревням, он не забывал откидывать борты пальто и открывал свою нарядную черкеску, обшитую широкими серебряными галунами. Румыны везде дивовались на статного, характерного генерала. Я помню, что во время осмотра казаков главнокомандующим в Галаце Скобелев-отец поразил меня своей фигурой: красивый, с большими голубыми глазами, окладистой рыжей бородой, он сидел на маленьком казацком коне, к которому казался приросшим. Он говорил мне, что в нем много литовской крови.

* * *

Дорогой мы обыкновенно или рассказывали что-либо друг другу, или Д. И. рассуждал с кучером Мишкой о худо подкованной пристяжной, о ненадежной вожже или шине у колеса и т.п., чаще же всего спорил с ним, бранился, угрожал отправить его домой, а с переходом через границу даже и выпороть, так как «законы теперь уже другие», но угрозы эти так и оставались угрозами, что кучер Мишка очень хорошо знал. После, когда в отряд прибыл Михаил Скобелев, часто трудно было различить, о ком говорит, кого Д. И. зовет: Мишу сына или Мишку кучера.

Мы ехали часто довольно далеко впереди войск; на полпути, выбравши хорошее место для роздыха войск, останавливались, добывали пресного или кислого молока, если поблизости было какое жилище или поселение, и затем, с подходом офицеров, завтракали чем-нибудь холодным.

Я забыл упомянуть еще о трех постоянных членах нашего общества: капитане генерального штаба Сахарове, с широким, сильно татарского типа лицом, исправлявшем при отряде должность начальника штаба, умном и остроумном человеке; штаб-ротмистре Дерфельдене, адъютанте главнокомандующего, состоявшем при отряде от его лица, славной русской природы, несмотря на немецкую фамилию; наконец штаб-ротмистре гатчинских кирасир Лукашеве, исправлявшем должность адъютанта штаба, если не ошибаюсь.

При отряде была и артиллерия Донского войска, но командир батареи держался более отдельно, между своими офицерами. Командиры полков второй бригады так же, как и сам Вульферт, редко бывали с нами, потому что они шли сзади на один переход, и являлись к Скобелеву только тогда, когда догоняли нас на дневках.

Нечего и говорить, что завтраки наши на лугу, под деревьями или под навесом румынской хаты, были очень оживленны и веселы. После отдыха сигнал выступления, и затем снова наша таратайка, а за ней и отряд двигались вперед.

Мы останавливались иногда по дороге порасспросить и поболтать со встречным крестьянином или крестьянкой, причем сами немало смеялись нашим условиям дать себя понять. «Вы не умеете, — говорил мне иногда Д. И., — дайте я объясню», — и вправду, иногда добивался ответа. Раз мы свернули с дороги к румыну, пасшему стадо баранов, сначала обезумевшему от страха при виде генерала, но потом уверившемуся в наших мирных намерениях. Скобелев хотел купить барашка на племя, как он выражался: отставивши руки недалеко одна от другой, он начал блеять тоненьким голоском: бя! бя! Крестьянин понял, продал барашка и долго улыбался нам вслед. Мы возили этого барашка в тарантасе, но он вел себя так дурно и так запакостил нас, что был сдан в обоз.

* * *

С приходом отряда в назначенное по маршруту место, в хате, занимаемой Скобелевым, готовился обед. Условие было такое, что сам Д. И. поставляет провизию и повара, Тутолмин вино, Сахаров, если не ошибаюсь, чай и сахар, а мне предложено было заботиться о сладком, т. е. изюме, миндале, орехах

и т.п. Скобелев всегда сам приготавливал салат, причем от непрерывного пробования вся борода его покрывалась салатными листьями.

Для супа он посылал часто повара тихонько утащить молодых виноградных листочков из ближнего виноградника.

Случалось, однако, что обед почему-либо заставлял себя ждать, тогда мы старались убить время всяким вздором и шутками. Сочинялись стихи: «К повару», «К обеду», а затем и вообще приуроченные к обстоятельствам: к походу, к погоде и т.п. Вот, например, стихи, сочиненные на артельном начале; в них грехи четверых: самого генерала Скобелева, полковника Тутолмина, капитана Сахарова и штаб-ротмистра Дерфельдена:

Скобелев: Не стая воронов слетается,

Тутолмин: Чуя солнышка восход,

Сахаров: Генерал в поход собирается, Дерфельден: И кричит: Давыд Орлов!

А вот мои вирши неоконченные, потому что Д. И. попросил прибавить что-нибудь о порядке и стройности в отряде, чем убил мое вдохновение, разумеется, к лучшему:

*Шутки в воздухе несутся,
Песни громко раздаются,
Все кругом живет, Все кругом живет.
Старый Скобелев с полками,
Со донскими казаками,
В Турцию идет, В Турцию идет.
Тут же тянутся кубанцы, Осетины-оборванцы;
Бравый все народ, Бравый все народ.
Артиллерия тащится,
Может, в деле пригодится,
Как знать наперед, Как знать наперед.
А в тылу у всех драбанты,
Писаря и медиканты,
Словом, всякий сброд, Словом, всякий сброд.*

Предположение продолжать, как сказано, не состоялось. После обеда, перед чаем, опять разговоры и шутки, а часто и песни, которым не брезговал подпевать басом и сам генерал. Песни очень любил Тутолмин; он так старательно вытягивал нотки, что иногда закрывал глаза от удовольствия, особенно когда пелась одна его любимая, солдатская, с припевом:

Будем жить, не тужить И царя благодарить!

И еще:

Будем жить, не тужить И я буду вас любить!

Спать ложились рано, так как вставать приходилось очень рано.

На одной стоянке только что мы легли было спать, как раздались выстрелы и за ними общая тревога. Наскоро одеваясь, спрашиваю у Скобелева, что бы это могло быть? «Турки», — отвечает он.

В несколько минут отряд был на ногах. Как назло, казак затерял уздечку моей лошади, и я поспел выехать позднее всех. Темнота была, хоть глаз выколи! Проехавши через какие-то канавы и буераки и едва не свалюсь с лошади, я добрался до построившегося уже отряда. Раздаются негромкие голоса: «Где артиллерия, артиллерия сюда! Кубанцы вправо!» Слышу, зовет генерал: «Василий Васильевич! Где Василь Васильич?» Я присоединился к штабу.

Послали разъезд, и что же оказалось? Какому-то еврею-маркитанту, остановившемуся здесь

ночевать и в темноте порядочно струсившему, вздумалось придать себе бодрости несколькими выстрелами из револьвера. Казаки, особенно Орлов, просили позволения хорошенько отодрать плетками этого героя, не давшего всему отряду выпасться, но я заступился и предложил дать ему только по нагайке за каждый выстрел; это было принято, и еврей получил только три нагайки, но, кажется, здоровые!

* * *

По большим деревням казаки располагались в домах, а в стороже от селений — в палатках. Вообще войско держало себя прилично, хотя и не обходилось без жалоб: там казак стянул гуся, там зарезали и съели барана так ловко, что ни шкуры, ни костей нельзя было доискаться; бывали даже жалобы, хотя и редко, на то, что казак «бабу тронул».

Шли мы с большими предосторожностями, как бы в неприятельской стране, с разъездами по сторонам, которые Скобелев называл «глазами». Хотя некоторые из офицеров и подтрунивали над этими предосторожностями, но так как нельзя было поручиться, что какая-нибудь шальная партия черкесов, переправясь темной ночью через Дунай, не набедокурит, не напугает всю окрестность, то, может быть, предосторожности эти были не лишние. Хоть мы еще были далеко от Дуная, но жители кругом, ввиду постоянных слухов о переправе неприятеля то там, то сям через Дунай, были в сильнейшей тревоге.

И офицеры, и казаки в отряде вели жизнь скромную; ни больших кутежей, ни сильной игры не было. Помнится мне только одна пирушка у Кухаренко, командира Кубанского полка, что-то такое праздновавшего, кажется, день своего рождения. Орлов явился с полудюжиной доброго донского, последней, как он уверял; потом, однако, явилась еще полудюжина, уже окончательно последняя, и едва ли не отыскалась еще третья, уже совсем, совсем последняя.

Главным интересом празднества была давно возвешенная жеребятина, которой К. собирался нас угостить. Мне случалось в Туркестане есть лошаадь, но жеребенка не едал.

Подали. «Го-о-оспода! — протянул К., порядочно заикавшийся, — по-ожалуйте ж-ж-жеребенка!» На блюде какие-то громадные котлеты, ребра с несколько синеватым мясом. Все попробовали; мне мясо понравилось, но большинству нет: кто ел мало, а кто и совсем отставил тарелку.

Подали второе блюдо. «Го-о-оспода, кто н-не желает ж-жеребятины, в-вот п-о-ожалуйте б-а-аранин-ки!» Принялись за баранину, послышались голоса С. и других: «Вот это другое дело, это мясо»... Когда все наелись, К. опять затянул: «Не в-в-в-зыщи- те, господа, о-о-оба блюда ббыли жжже-ребятина!..»

* * *

У меня не было ни лошади, ни повозки, и всем этим надобно было обзавестись. Решено было, что достанет все сотник В., командир одной из кубанских сотен, умевший добывать все, всегда и везде. Генерал познакомил меня с ним. «Это можно», — отвечал тот; и на другой же день я получил рыжего коня, хотя с бельмом на одном глазу, но доброго, хорошо видевшего и одним глазом, а главное, недорогого, за 70 рублей, что по тогдашним ценам на лошадей было недорого.

Позже, в Бухаресте, В. добыл мне и повозку с лошадью, за 400 франков, от русского поселенца, скопца. Для повозки Скобелев дал мне пешего донского казака, Ивана, а для моих поездок молодого осетина Каитова.

* * *

Вскоре подъехал к нам молодой Скобелев. Перед ним прибыли его лошади. Одна, подаренная ему отцом, кровная английская выводная кобыла, уже довольно старая, была разбита на ноги: другая, белый жеребец персидской породы, была при некоторых хороших статьях чуть ли не уродом в общем. Третий конь — хивинский, золотистый туркмен, далеко не из лучших туркменских лошадей.

О молодом генерале в отряде уже слышали и меня, как его знакомого, часто спрашивали, что он за человек. Я всем отвечал, что он храбрый, хороший офицер.

Отношения отца и сына Скобелевых были дружественные, но мне казалось, что Д. И-чу не совсем приятен был Георгий 3-й степени М. Д-ча, в то время как у самого у него был только 4-й. При этом отец, отчасти как бывший кавказец, относился иронически к военным заслугам Михаила Дмитриевича в Туркестане, войны которого он называл бараньими. Помню, что раз, за столом, мне пришлось крепко заступиться за молодого генерала, так что старый даже надулся. Вообще же М. Д. своими военными рассказами, так же как планами и предположениями для предстоявшей кампании, несколько нарушил ровный, патриархальный строй нашей походной жизни.

Помнится, молодой Скобелев строил такое множество планов перехода через Дунай и всех войск, и отдельных частей, предприятий для нападения врасплох на турецкие пикеты, батареи и прочее, планов и предприятий, которые он постоянно по секрету сообщал, то тому, то другому из старших офицеров отряда, что многих привел в совершенное недоумение. «Он какой-то шальной, — говорил мне С., — чуть не каждый час новый план; возьмет под руку — “знаете, что я вам скажу” — и начнет, и начнет, да такую чушь!»

Как искренне любивший Скобелева, я посоветовал ему быть воздержным и осторожным. Он очень интересовался знать, какое произвел впечатление в отряде, на что я и сказал ему, что его молодость, фигура, георгиевские кресты и прочее бесспорно произвели известное обаяние, но он должен остерегаться разрушить его надоеданием всем со своими проектами, как бы они не казались лично ему практичными и удобоисполнимыми. Михаил Дмитриевич горячо поблагодарил за это. «Это слова истинного друга», — сказал он мне.

* * *

Подойдя к Бухаресту²⁰, мы не пошли в самый город, согласно конвенции; к отряду выехал полковник Бобриков, бывший наш военный агент в Константинополе, вместе с несколькими румынскими офицерами, обвели нас кругом предместьями, в одном из которых, в стороне Дуная, мы разместились. В отряде очень недовольны были этим и находили условие не проходить городом унижительным, с тем, пожалуй, можно было и не согласиться.

Лишь только части расположились, как старику Скобелеву дали знать, что главнокомандующий проездом в Бухаресте и остановился в доме консула Стюарта. Почтенный Д. И. так обрадовался этому, что, как сидел на кровати, так и вскинул ноги кверху, совсем вертикально. Он поехал верхом со своим значком из голубого шелка с большим белым крестом, который шел по Румынии впереди отряда, и имел с главнокомандующим объяснение по поводу одного обстоятельства, бывшего потом причиной потери им командования отрядом.

Я ездил по городу с молодым Скобелевым и, признаюсь, немного совестился его товарищества: встречным барыням, особенно хорошеньким, он показывал язык!

Скобелев скучал бездействием: видно было, что ему не хотели доверить отдельного командования, и он сильно горевал о том, что не остался в Туркестане, где теперь, по слухам, готовилась демонстрация против Англии; мысль о походе в Индию не давала ему покоя. «Дураки мы с вами вышли, что сюда приехали», — говорил он оставившему вместе с ним службу в Туркестане капитану Маслову, тоже крепко порывавшемуся назад. Я советовал М. Д. не торопиться сетованиями. «Будем ждать, В. В., — говорил он, — я умею ждать и свое возьму». Маслову я советовал связать свою судьбу с судьбой С., который, как можно было быть уверенным, действительно сумеет занять свое место.

Жаль только, что это случилось поздно, что его молодость так долго служила ему помехой и такому

²⁰ Бухарест, столица современной Румынии. — *Примеч. ред.*

рысаку не было хода — исход кампании был бы другой.

Скобелев-отец угостил нас всех обедом в гостинице Гюк, где и я остановился на время нашего роздыха в Букареште. Гостиница порядочная, недорогая, как говорится, делавшая дела за это время; впрочем, не было, вероятно, человека в Букареште, который так или иначе не пользовался бы от русских; трактирщики же и содержатели гостиниц просто, должно быть, наживали состояния в это бойкое время.

В Букареште я познакомился с полковником Паренцовым, настоящим начальником штаба нашего отряда, должность которого исполнял С. Теперь он состоял при другом деле и не намеревался, по видимому, присоединиться к нам.

* * *

Будучи обязан поставлять для нашей столовой артели сладости, я обегал все лавки в городе, но, кроме дрянного изюма и твердого чернослива, ничего не мог найти — все было раскуплено. Как ни стыдно это было, а пришлось угощать добрых товарищей по походу этой гадостью.

Кажется, после двух дней роздыха, мы выступили далее в старом порядке. Один день шли впереди донцы, другой — кубанцы, большей частью с песнями и казацкой музыкой, хотя не всегда гармоничной, но громкой и залихватской. Так и представляется мне, при воспоминании об этой музыке, офицер, заправлявший ею в Кубанском полку (забыл его имя): статный, красивый, огромного роста, он собственноручно дирижировал ударами в турецкий барабан, и какими ударами! — нельзя было слышать их иначе, как на почтительном расстоянии.

Войска, как и прежде, останавливались, где было место, по хатам, а где нет — в палатках, только бы была поблизости вода. Мы всегда добывали себе домишко, когда крестьянский, когда помещичий. Иногда заходили с Д. И. погулять в расположенные по соседству усадьбы, где в отсутствие хозяев, охотно все показывали, угощали нас дульчесами т. е. вареньем с неизменным стаканом воды. Раз остановились в большом помещичьем доме, очень просторном и удобном; но отряду в эту ночь было несладко; сколько ни разыскивали, не нашли подходящего сухого места, и казаки принуждены были поставить палатки на топком грунте; на беду еще погода была сырая, моросил все время дождик; помнится, здесь обвиняли начальника отряда в том, что он слишком пригоняет место лагеря войск к месту собственной остановки.

Отсюда Д. И. Скобелев был временно вызван к начальству. За время отсутствия отца, Скобелев-сын командовал отрядом. Как же и рад он был объехать казаков и сказать им: «Здорово, братцы!» Он уже жаловался мне, когда я сдерживал его новые поползновения проситься назад в Туркестан: «Думаете вы, В. В., мне легко не иметь права поздороваться с людьми после того, как я водил полки в битву и командовал областью?..» Казаки увидели разницу между сыном и отцом; слышно было, как, говорили: «Вот бы нам какого командира надо». Старик Скобелев это узнал потом и рассердился. «Он не может быть на этом месте, потому что я на нем», — говорил он мне. Не знаю почему, старого Скобелева называли все пашой; С. даже называл его Рыгун-пашой за то, что он часто и громко рыгал.

Казаки певали часто пародию на известную солдатскую песню: «Было дело под Полтавой», начинавшуюся стихом: «Было дело под Джунисом», сложенную на тот же голос нашими добровольцами в Сербии. Между прочим, стих:

Наш великий император, Память вечная ему и т. д., был пародирован так: Наш великий М...е, Чтобы черт его побрал, Целый день сидел в резерве, Телеграммы отправлял.

Старый Скобелев часто слышал эту песню и никогда не обращал внимания на нее; молодой, в первый же день своего короткого командования, сказал казакам: «Братцы, прошу вас не петь эту песню: в ней осмеиваются наши братья, храбро дравшиеся за славянское дело!» — это было справедливо; к тому же и помянутый с насмешкой М. прекрасный, истинно русский человек, стоил

скорее похвалы, чем порицания за свою деятельность в Сербии.

М. Д. успел осведомиться о пище людей и некоторых других порядках в отряде, что тотчас же сделалось известным нижним чинам и дало молодому генералу популярность. Помню, он был до того нервен, что поминутно бил шпорами лошадь и дергал ее; я сказал ему, что бы он не делал этого хоть перед все замечающими казаками!

Скоро мы пришли к Фратешти, близ станции железной дороги этого же имени, откуда открылся Дунай далекой серебристой, сверкающей на солнце, полосой. Так как отряд должен был расположиться вдоль реки, — о переходе ее еще не было и речи, — то я надумал съездить ненадолго в Париж, если разрешат. В пути испортились некоторые из моих художественных принадлежностей, однажды при падении вещей помялись краски и полотна, — приходилось или поскорее выписать, или съездить самому; я предпочел последнее и, сказавшись Скобелеву, в тот же день уехал на станцию, откуда через Букарешт в Плоешти, где в это время была главная квартира. Главнокомандующий любезно отпустил меня, посоветовавши только осторожность в разговорах.

* * *

Ровно через 20 дней я вернулся. Главная квартира в это время была оченьлюдна и шумна, так как Государь Император уже прибыл в армию. Вечером в тот же день я переехал в Журжево, где стоял Скобелев со своей дивизией, и на следующее утро был разбужен пушечной пальбой; прибежал казак от начальника дивизии звать меня: турки-де бомбардируют Журжево — пожалуйте.

Приезжаю на берег Дуная; день прекрасный, ясный: Рушук как на ладони со своими фортами, белыми минаретами и дальним лагерем. Д. И. Скобелев со штабом сидит под плетнем дола, выходящим на реку. Турки бомбардируют, как оказывается, не город, а купеческие суда, собранные перед городом между берегов и маленьких островков, на которых, по их предположениям, должны были переправиться наши войска; это были прекурьезные барки, конструкции прошлого столетия, и надобно было иметь очень дурное мнение о переправочных средствах русских войск, чтобы предположить себе их плывущими в турецких берегах на этих галерах.

Пока неприятель еще не пристрелялся, несколько гранат упало в крайние городские дома, и какой же там поднялся переполох! Все бросились с самыми необходимыми вещами в руках на другой конец города, я пошел на суда и поместился на среднем из них наблюдать, с одной стороны, кутерьму в домах, с другой — падение снарядов в воду. Вон ударила граната, за нею другая в длинное казенное здание, что-то вроде складочного магазина, служившее теперь жильем полусотне кубанских казаков; по первой гранате, ударившей в стену, они стали собирать вещи, но по второй, пробившей крышу, повысыпали, как тараканы, и, нагнувши головы, придерживая одной рукою кинжал, другой папаху, бегом, бегом, вдоль стены, в улицу.

Некоторые гранаты ударили в песок берега и поднимали целые земляные не то букеты, не то кочны цветной капусты, в середине которых летели вверх воронкой твердые комья и камни, а по сторонам земля; верх букета составляли густые клубы белого порохового дыма.

Гранаты падали совсем около меня; когда турки пристрелялись, лишь немногие снаряды попадали на берег, большинство ложилось или на суда, или в воду, между ними и перед ними. Два раза ударило в барку, на которой я стоял, одним снарядом сбило нос, другим, через борт, все разворотило между палубами, причем взрыв произвел такой шум и грохот, что я затрудняюсь передать его иначе, как словом «адский», хотя в аду еще не был и, как там шумят, не знаю. Грохот этот, помню, выгнал на верхнюю палубу двух щенят, исправно принявшихся играть и только при разрывах останавливавшихся, наострив уши, и — снова давай возиться.

Интереснее всего было наблюдать падение снарядов в воду, что подымало настоящие фонтаны, превысокие.

Когда показывался дымок, делалось немного жутко, думалось: «Вот, ударит в то место, где ты стоишь, расшибет, снесет тебя в воду, и не будут знать, куда девался человек».

Турки выпустили пятьдесят гранат, потом замолчали; результат этой бомбардировки был самый ничтожный.

— Где это вы были, — спрашивают меня, — как же вы не видели такого интересного дарового представления? — Я его видел лучше, чем вы, потому что был все время на судах. — Не может быть! — отвечали все в голос. — Пойдемте туда, посмотрим аварии, — сказал Скобелев; мы обошли суда, осмотрели поломки, но собачек не нашли уже: спрятались ли, испугавшись, или их сбilo в воду?

Порядочно-таки досталось мне за мои наблюдения; некоторые просто не верили, что я был в центре мишени, другие называли это бесполезным браверством, а никому в голову не пришло, что эти-то наблюдения и составляли цель моей поездки на место военных действий: будь со мной ящик с красками, я набросал бы несколько взрывов.

* * *

Отряд держал пикеты по Дунаю на большом пространстве. На левом фланге, в Малороше, — донские казаки Орлова; в центре до деревни Малы-Дижос — кубанцы, далее до деревни Петрошан — осетины.

Сначала я съездил к донцам, в Малорош; они выстроили себе образцовую вышку для наблюдений, очень рассердившую турок, которые начали обстреливать казаков, что, в свою очередь, Орлову не понравилось — гранаты попадали в коновязь и так пугали и разгоняли лошадей, что их не скоро разыскивали. Пробовали отвечать из наших донских пушенок, но они не доносили, и, чтобы не срамиться, перестали стрелять. За бытность мою в лагере казаки, под руководством саперов, рубили фашины для закрытия. Я повидал Грекова и других знакомых офицеров. Греков, по обыкновению, цвел и краснел... от красного вина.

* * *

Близ самого Журжева возводились батареи. Мы ходили вместе с обоими Скобелевыми смотреть их постройку, и старик заметил саперному офицеру, что надстилку над землянками он делает слишком легкой. Молоденький офицерик шеголевато приложил руку к козырьку и ответил: «Для турок довольно, ваше превосходительство». Скоро оказалось, что эта оценка была далеко не верна.

Немного далее от города, у первой деревни Слободзеи, возводилась еще батарея, кажется, осадных орудий, долженствовавших хватать на девять верст; тут работал дельный полковник Плюцинский.

* * *

Городишко Журжево продолжал жить обычной жизнью, местами еще более обыкновенного деятельной: правда, очень многие повыхали в ожидании бомбардировки, и особенно прибрежные дома были пусты, но далее, в глубь города, на площадях и по улицам, толпилось всегда много народа, торговля, шла бойко; гостиницы и трактиры были просто переполнены офицерством, кутившим на все лады — и в одиночку, и толпами, с прекрасным полом и без оногo. Разгул доходил до безобразия, до забвения приличий. Помню, зайдя раз вечером с С. и другими офицерами в трактир поужинать, мы застали там пьяную компанию, снявшую с себя сабли, фуражки, а некоторые даже и сюртуки, и одевшую в них гулявших с ними девчонок — это в общей-то зале!

Наша молодежь, помянутый С., Л. и другие, часто ходили в какой-то сад слушать арфисток и до того нарасказывали Скобелеву о приятностях времяпрепровождения там, что старик, не желавший компрометировать важность начальника дивизии прямым посещением этого рая, решил заглянуть туда обиняком: видели, как он подлезал и высматривал через забор, и смеялись же потом над ним! Но он отнекивался, уверял, что это был не он, а кто-нибудь другой.

* * *

Еще в Букареште я познакомился у М. Д. Скобелева, с известным корреспондентом «Daily News», Мак-Гаханом, а позже в Журжеве виделся с Форбсом, приехавшим в штаб отряда, не помню, с каким-то сообщением. Я один говорил по-английски и, переводя, старался, помню, смягчить убийственно холодный прием и ответы, встреченные им у нас. Сам я, чтобы не навлечь на себя нарекания в потворстве «коварным англичанам», избегал при встречах на улице вступать с ними в разговоры, что, признаться, было очень совестно; видно было, что Форбс чувствовал общую к нему подозрительность, и старался заискивать, быть любезным.

* * *

Сам начальник дивизии помещался в небольшом домике на набережной, куда мы собирались ежедневно к обеду. Здесь присоединился к нам и Цертелев, бывший секретарь посольства в Константинополе, теперь поступивший урядником в Кубанский полк и состоявший при Д. И. Михаил Скобелев, хотя уже был теперь начальником штаба отряда, редко жил с нами, а больше пребывал в Букареште, куда его привлекали преимущественно женщины всевозможных национальностей, со всей Европы собравшиеся на жатву. И что за пиры, что за разгул стоял теперь в этом городе! От прапорщика, в первый раз имевшего при себе 300 рублей, до интенданта, бросавшего десятками тысячи — все развернуло, все распахнуло славянскую натуру, кутило, ело, пило, — пило по преимуществу!

У М. Д. в это время сплошь и рядом не было ни гроша, так что он перехватывал, где что было можно и в особенности, разумеется, пробовал теребить отца, тугого и неподатливого на деньгу. Один раз, когда молодой послал к старому попросить денег, тот дал ему четыре золотых, что вывело М. Д. из себя. «Ведь я лакеям на водку больше даю», — сказал он с сердцем; по правде сказать, в такое бойкое время ему не хватило бы никаких денег.

* * *

Я часто гулял со старым Скобелевым по аллеям бульвара. Раз он мне говорит: «Пойдемте посмотреть, как поведут шпиона». Мы сели на лавочку против дома, в который вошли полковник Паренцов и адъютант главнокомандующего; перед крыльцом поставили спереди и с боков по два солдата. Мы сидели, ждали долго, и я было хотел войти посмотреть процедуру обыска и допроса, но Скобелев удержал.

Вот, однако, они вышли на крыльцо: впереди шпион, руки в карманы пиджака: мне, дескать, наплевать, я не виноват; однако, когда он увидел солдат, то, очевидно, понял, что дело серьезно, на несколько секунд приостановился, глубоко вдохнул воздух и... начал спускаться с лестницы.

Это был барон К., австрийский подданный: действительно ли он был шпион — не знаю, но, вероятно, нашли у него что-либо компрометирующее; так как малого отправили в Сибирь, только через два месяца воротили — напрасно!

* * *

Еще в главной квартире, перед поездкой в Париж, я встретился с лейтенантом гвардейского экипажа, Скрыдловым. Он отправлялся тогда на рекогносцировку Дуная и звал меня в Малы-Дижос, место расположения Дунайского отряда гвардейского экипажа. Сообщил он мне также, что готовится атаковать на своей миноноске один из турецких мониторов, и звал идти под турку вместе; я принял приглашение на том условии, что он дал честное слово показать мне картину взрыва. Случай был единственный, упускать его не следовало.

Вскоре по возвращении в Журжево, я поехал в гости к морякам, жившим в части деревни, наиболее удаленной от берега, так как динамит и пироксилин, которыми они начиняли свои пироги, должны были содержаться в возможной безопасности от турецких выстрелов.

Скрыдлов был вместе со мной в Морском корпусе, на два года младше по классу; мы вместе плавали за одну кампанию на фрегате «Светлана». Когда я был фельдфебелем в гардемаринской роте, он состоял у меня под командой; и распекал же я, помню, его, беднягу, в особенности за постоянные разговоры и перешептывания во фронте, от чего ему, видимо, трудно было удержаться по живости характера.

Я поместился с ним и его товарищем, Подъяпольским, в домике их, на краю большой, грязной площади. Обедали мы иногда в общей офицерской столовой, а чаще варили что-нибудь у себя; прислуживал матрос-денщик, добрый детина; смешивший нас своими неуклюжими повадками. Спали мы на крыльце домика, под пологам, так как комары в это время года (конец мая) были презлые.

С первого же дня я посвящен был словом и делом в великий секрет обоим товарищам. Дело в том, что, когда гвардейский экипаж уходил из Петербурга, владелец известного английского магазина, бывший их поставщик, предложил отряду в напутствие ящик хересу, который Скрыдлов взялся доставить на Дунай. Доставить-то он доставил, но, кроме П., никому покамест об этом ящике не заикнулся, и приятели потягивали себе хересок, оказавшийся недурным, да угощали своих гостей, до поры до времени, конечно, пока все не узнали о проделке и не отняли ящик, значительно, впрочем, облегченный, так как и Скрыдлов, и Подъяпольский были не дураки выпить...

На той же площади деревни жил начальник всего минного отряда, капитан 1-го ранга Новиков, очень бравый офицер, украшенный еще в Севастопольскую кампанию маленьким Георгием. Первый раз я видел его на обеде у одного важного в армии лица, которое спросило его, за что он получил крест? — «Пороховой погреб взорвал», — отвечал Н. таким густым басом, что все просто изумились. Тот же бас, хотя и не столь высокой пробы, раздавался и в занимаемом им домишке. Мы ходили к нему пить чай и с интересом прислушивались и присматривались к его словам и распоряжениям, стараясь по ним угадать, скоро ли начнется давно ожидаемая закладка мин в Дунай, для защиты переправы, которая должна была начаться немедленно за тем.

Новиков был неумолим; храбрый и толковый, он имел только два заметных недостатка: во-первых, всех, без разбора, оглушал своим пушкообразным голосом, во-вторых, мины называл бомбами; и то и другое, впрочем, охотно всеми прощалось ему за его доброту и простоту обращения.

* * *

Несколько раз ездили мы со Скрыдловым по исполнению разных возложенных на него поручений. По Дунаю ездили, разумеется, ночью ставить вехи для обозначения пути, по которому должны были следовать миноноски при закладке мин. Дунай был сильно разлит еще, и по затопленному низкому берегу миноноски не везде могли проходить, так как некоторые из них сидели довольно глубоко. Надобно было проследить и указать вехами фарватер речонки, впадавшей в Дунай; по ней-то предполагалось следовать с минами.

Так как приказано было никак не беспокоить турок, не возбуждать их внимания никакими работами и, по возможности, усыплять их бдительность, то мы выехали, когда уже почти стемнело, и к утру вехи были поставлены, но с расчисткой фарватера речонки, загороженного при устье солидными сваями, долго провозились и так и не кончили в этот раз. Пробивши покамест небольшой проход для шлюпки, мы проехали в самый Дунай отчасти для того, чтобы побравировать, а отчасти для проверки, есть турки на острове при стоявшем там карауле или нет. Тихо, едва опуская весла в воду, пробирались мы мимо густых ивовых деревьев; всякий внезапный шум, всплеск рыбы, крик ночной птицы заставлял нас вздрагивать; мы пристали к острову, погуляли и уверились, что турок на нем нет, хотя они, видно, были там недавно, косили траву. Мы проехали Дунаем; турецкий берег был совсем близко. Течение там сильно, что трудно было подаваться вперед, и скоро, чтобы не мучить людей и не привлечь внимания неприятеля, С. поворотил назад; к утру мы были дома, и мичман Нилов, помощник Скрыдлова, бывший с нами этот раз, поехал еще на следующую ночь и, окончательно

разваливши запруду, прочистил путь, — прочистил не прочистив, потому что это место задержало потом весь минный отряд.

Другой раз мы ездили по берегу с секретным поручением, данным Скрьдлову ко всем частям войск, содержащих посты на Дунае. Мимо наших кубанцев, владикавказцев, осетин проехали до Зимницы, где держали посты гусары, не помню, какие именно.

В Парапане я познакомился с генералом Драгомировым, проезжавшим по делу приготовления к переправе: осведомившись о том, не корреспондент ли я, и получив отрицательный ответ, он начал говорить о ходе дела так свободно, разумно и логично, что удивил нас, т. е. меня, Скрьдлова и Вульфферта, у которого мы остановились. Драгомиров пользовался и пользуется большой популярностью и теперь считается одним из лучших боевых генералов нашей армии.

Офицеры, в обществе которых мы останавливались и обедали, были чрезвычайно любезны с нами, хорошо кормили и исправно снабжали переменными лошадьми; впрочем, Скрьдлов может быть, не прочь был бы, чтобы к последней исправности прибавилось немного и выбора: как нарочно, ему доставались такие росинанты, что на последнем переезде от гусар к казакам он всю дорогу должен был бить своего долговязого, гнедого коня, а еще неприятнее было то, что, несмотря на старание ехать по-английски, т. е. подпрыгивать на стременах, он стер себе до крови тело. «Ты вот как ездил», — учил он меня, подпрыгивая на стременах, и целую неделю потом профессор мой едва ходил. Известно, что женщины и моряки самые смелые и неукротимые ездоки.

* * *

Я написал этюд Дуная и одного из казацких пикетов на нем, но вообще работал красками немного: ездил в Журжево, ходил к казакам и иногда бродил смотреть работы минеров или ездил с Скрьдловым пробовать машину и ход его миноноски «Шутка». Чтоб опять-таки не обращать на себя внимание турок, надобно было ездить или с заходом солнца, или в дурную погоду и не дымить, не давать искр, для чего брался только лучший уголь, — турки не знали и не должны были знать о существовании у нас целой паровой флотилии.

Один раз довольно поздно мы вышли в очень бурную погоду. Ветер так усилился, что при возвращении, против течения, «Шутка» не могла выгребать. Мутный Дунай страшно разбушевался, причем, благодаря сильному дождю, в нескольких шагах ничего не было видно, и это навело Скрьдлова на мысль привести в исполнение давно задуманное дело атаки одного из турецких мониторов, стоявших перед Руцкуком. Мы знали, что один стоит перед фортами, а другой — правда, за островком, и так как по стуку в продолжение нескольких дней можно было догадаться, что около последнего строили *кринолин*²¹, или какую-нибудь подобную защиту, то должно было рассчитывать на возможность подойти только к первому. В такую погоду, конечно, была возможность подойти почти не замеченным, почти вплоть. «Пойдем, хочешь?» — спрашивал С. «Пойдем, я готов...» Вышло, однако, то, что мы не пошли. — «Дело не в том, — говорил в конце концов Скрьдлов, — чтобы уничтожить у турок один лишний монитор, а чтобы заложить мины и дать возможность навести мост для переправы армии; ввиду такой важной цели неблагоразумно, пожалуй, преступно рисковать одной из лучших миноносок, которых у нас мало. «Как ты думаешь?» — «И то дело», — отвечал я.

Мы решили пристать к берегу, но так как непогода все застилала перед глазами, то ошиблись, приткнулись не туда, очень далеко от нашей деревни, и только к ночи добрались до дому. Интересно, что на том мысу, к которому мы пристали, стоял пикет из трех казаков, так глубоко спавших, завернувшись в бурки, что мы насилу растолкали их, и будь тут вместо нас партия черкесов, они, как бараны, были бы перерезаны. Я сказал об этом сотенному начальнику, взявши, однако, с него предварительно слово не взыскивать, на первый раз.

²¹ В XIX в. противоторпедная защита корабля — противоторпедные сети, подвешенные особым образом на обоих бортах корабля по всему его протяжению.

Этот сотенный командир, стоявший в Малы-Дижосе, был К. П. В., тот самый всезнающий и вездесущий офицер, которому Скобелев поручил купить мне лошадь и повозку. Я довольно близко познакомился с этой своеобразной личностью и частенько бывал у него.

Когда я приходил, он прежде всего спрашивал, не хочу ли я борщу? — «А ну, так чаю?» — и, уже не дожидаясь ответа на второй вопрос, приказывал *заварить*. Какой у него был чай, с каких плантаций — неизвестно; достаточно того, что он сильно окрашивал воду и что К. П. В. считал его *хорошим*. Ложечки, однако, не водилось, и хотя хозяин всегда приказывал Щаблыкину (денщику) «подать ложечку, помешать», но тот, зная уже, как понимать это, отправлялся к плетню, вынимал кинжал и вырезал аккуратный прутик. К. П. сам пил всегда вприкуску, экономно, и оставшийся кусочек попадал назад в сахарницу, со всеми отпечатками пальцев на нем.

Разговор мой, да, вероятно, и всякого другого посетителя, с К. П. начинался обыкновенно его вопросом: «Что, не слыхать, скоро ли переправа?» — затем переходил к слухам о мире, неизвестно откуда, до начала еще военных действий, к нему доходившим, причем К. П. каждый раз также не забывал, более или менее конфиденциально, разузнавать о том, как лучше, вернее и выгоднее пересылать домой деньги и можно ли посылать золото, не особенно гласно?

Дом свой Кузьма Петрович, очевидно, очень любил, и чем дальше затягивался поход, тем чаще и настойчивее доходили до него все тем же неведомым путем слухи о близком мире. Он много рассказывал о своем хуторе близ Ставрополя, о старшем сыне Кузьмиче: его раннем уме и развитии. Рассказывал об охоте на зайцев и лисиц по первому снегу, для чего раздобыл гончую Милку, которую, впрочем, предлагал мне в подарок каждый раз, что я бывал у него, отчасти вероятно потому, что она ему оказывалась не нужна, отчасти ввиду того, что не предвиделось скоро конца кампаний, а нужно было кормить пса, возиться с ним.

Рассказывал также В. о делах против горцев, в которых он участвовал на Кубани, причем не рисовался, никаких геройских подвигов не выдумывал, а прямо сознавался, что в таком-то деле, он, спасая свою жизнь, утек, что совсем не считается постыдным у казаков, в силу правила, что коли ты сильнее неприятеля, тогда души, круши его, но если он тебя сильнее, тогда спасайся, и чем быстрее, тем лучше, — казацкие понятия о храбрости не те, что солдатские.

К. П. В. оказался и музыкантом: один раз, позванные к нему со Скрыдловым и еще двумя морскими офицерами, мы застали его, в меховом бешмете, заправляющим хором песенников, со скрипкой в руках. Хотя и видно было, что рука, управлявшая смычком, брала больше смелостью, чем умением, но ведь «на нет и суда нет», говорит пословица; «даровому коню в зубы не смотрят», — говорит другая.

Речь К. П. была всегда ровная, покойная, так же как и его взгляд, куда-то, как будто рассеянно, направленный. И обращение с казаками тоже больше ровное, без брани, которая приберегалась лишь для самых экстренных случаев, хотя казаки и держатся правила, что «брань на вороту не висит».

К. П. просто боготворил свою лошадь, небольшого вороного кабардинца, ездил всегда на другом копе, а этого только кормил и холил до того, что он был совсем круглый, как наливное яблочко; он говорил, что *таких* лошадей не сыщешь теперь и в Кабарде, и уверял, что не отдаст ее ни за какие деньги, что не помещало ему впоследствии продать мне ее за 300 с лишком рублей, хотя больше 100-150 она не стоила. Словом, К. П. был тип выслужившегося из урядников казацкого офицера, не особенно храброго, но и не труса, — и та и другая крайность между казаками редкость, — без всякого образования, но очень смышленного, себе на уме, сумеющего найтись во всяком положении, раздобыться провиантом и фуражом там, где его, по-видимому, вовсе нет, лихо порубить отступающего врага и не без чести отступить перед наступающим...

* * *

Скрыдлов сообщил мне под секретом, что видел у Новикова бумагу из главной квартиры, в которой высказывалось неудовольствие главнокомандующего на медленность приготовлений, которой задерживается наведение понтонов (уже совсем готовых) и переправа всей армии. Значит, на этих днях должны пойти, хотя нет еще угля, нет того и другого... Сообщил также, что он и Х. назначены атаковать неприятельские мониторы, в случае если бы те вздумали мешать работать, — значит, взрыв монитора можно будет видеть.

Далее, однако, он сообщил, что Новиков не хочет брать с собой никого из посторонних, к составу отряда не принадлежащих, что, следовательно мне нужно будет переговорить с отцом командиром теперь же, что я и сделал.

Модест Петрович сначала казался непреклонным и все советовал мне смотреть с берега, это за три-то версты, однако сдался-таки наконец, и мы занялись приготовлением к походу под турка: сварили несколько куриц, взяли бутылку хересу (все уже проведали про него и отняли ящик), взяли хлеба и прочего чуть не на неделю; я взял бумаги и мой маленький ящик с красками, которым, однако, суждено было не выглядывать на свет Божий.

* * *

Накануне нашей экспедиции я получил телеграмму через старого Скобелева: «Художнику Верещагину немедленно следовать со стрелковою бригадой. Скалон».

Сначала я ничего не понял, но потом, съездивши в Журжево, разобрал, в чем дело: давно уже просил я Дмитрия Антоновича Скалона, управлявшего канцелярией главнокомандующего, дать мне возможность видеть переправу и для этого вовремя прицепить меня к самой передовой части: теперь стрелковая бригада выступила к Зимнице, значит, где-нибудь там готовилась переправа... Так как движение бригады по ночам (днем войска не двигались, чтобы не будоражить турок) потребовало бы не менее двух суток, то я рассчитал, что успею побывать с моряками при закладке мин, а потом догнать генерала Цвезинского с его бригадой.

Я зашел в домишко, в котором были сложены мои вещи, чтобы захватить наиболее нужные, и, перебирая их, почувствовал маленькую неловкость: было немного жутко при мысли, что турки не останутся хладнокровны к тому, как Скрыдлов будет взрывать их, а я смотреть на этот взрыв, и что, по всей вероятности, мины наши нас же самих первыми и поднимут на воздух — зато же я увижу взрывы монитора!

Простившись с моей квартиркой, осмотревши лошадей, между которыми был новый, беленький иноходец, купленный недавно за 25 золотых, я пошел повидать некоторых офицеров и затем, в ту же ночь, воротился в Малы-Дижос, чтобы немедленно перебраться на миноноску.

Младший брат мой, поступивши из отставки на службу во Владикавказский полк, приехал в этот день ко мне, прямо с дороги; я направил его по начальству, а сам с моей дорожной сумкой пошел к морякам.

* * *

После обеда во дворе дома, где помещался общий стол, Т., старший офицер морского отряда, заведовавший им, раздавал людям водку и делал это так торжественно и методично, что задержал наше выступление. Уже было почти темно, когда все собрались у берега маленького залива, в котором приютились миноноски, начавшие разводиться пары.

Неожиданно приехал молодой Скобелев и, отведя в сторону Новикова, с жаром что-то стал говорить ему: он высказывал ему желание быть полезным отряду и предлагал взять его на одну из миноносок, но Н. наотрез отказал в этом.

Священник Минского полка, молодой, весьма развитой человек, стал служить напутственный молебен. Помню, что, стоя на коленях, я с любопытством смотрел на интересную картину, бывшую предо мной: направо — последние лучи закатившегося солнца и на светло-красном фоне неба и воды черным силуэтом выделяющиеся миноноски, дымящие, разводящие пары; на берегу — матросы полукругом, а в середине офицеры, все на коленях, все усердно молящиеся; тихо кругом, слышен только голос священника, читающего молитвы.

Я не успел сделать тогда этюды миноносок, что и помешало написать картину этой сцены, врезавшейся в мою память, сцены просто поразительной.

Когда кончился молебен, отходящие расцеловались с остающимися, в числе которых был и Подьяпольский, наш приятель и сожитель. Я обнялся с М. Д. Скобелевым. «Вы идете, этаким счастливцем, как я вам завидую!» — шепнул он мне; ему, видимо, хотелось поскорее показать себя дунайской армии.

* * *

Скрыдлов не торопился разводить пары, и я попенял ему за это, так как нам приходилось выступать на веслах. «Будь уверен, — отвечал он, — что мы всех обгоним и войдем в Дунай первыми; они не знают фарватера и все будут на мели». Так и случилось. Было так темно, что всех нельзя было различить, и хотя на передней шлюпке шел лоцман, но когда пары у нас поспели и мы стали подвигаться пошибче, то вправо и влево стали различать какие-то неподвижные черные массы; мы их окликали, они нас окликали; все это оказывались миноноски, сидящие на песке; «Шутка» стаскивала многих, но, должно быть, они снова притыкались, потому что движение вперед шло медленно.

Предположено было еще до рассвета войти в русло Дуная и с зарей начать класть мины; вышло же, что уже рассвело, а еще никто даже не выбрался на фарватер. Было утро, когда прошли местом, где мы выворачивали сваи, с которыми тут опять много возились. Случилось, как говорил С., что мы вошли в фарватер Дуная почти первыми, впереди шел только Х., т. е. вторая миноноска, назначенная в атаке, самая легкая и ходкая из всех вторая по быстроте была наша «Шутка».

Мы долго стояли на одном месте, чтобы дать время подтянуться остальным, и потом пошли вдоль островка, густые деревья которого скрывали еще нас от турок. Очевидно, что сделать, как предполагалось, т. е. тайком подойти и положить мины к турецкому берегу, было невысказано; вдобавок, кроме нашей и еще одной, двух, все остальные миноноски страшно дымили и пыхтели, так что одно это должно было выдать отряд.

Только что стали мы выходить из-за первого островка, как из караулки противоположного берега показался дымок, раздался выстрел, за ним другой... и пошло, и пошло, чем дальше, тем больше. Берег был недалеко и мы ясно видели суетившихся, перебежавших солдат; скоро стало подходить много новых стрелков, особенно черкесов, и нас начали осыпать пулями, то и дело булькавшими кругом лодки.

Нас обогнал и пошел впереди Новиков: он стоял на корме, облокотясь на железную крышку миноноски, не обращая никакого внимания на выстрелы, для которых его тучная фигура, облеченная в шинель, представляла хорошую мишень.

Сделалось вскоре очень жарко от массы падавшего свинца: весь берег буквально покрылся стрелками и выстрелы представляли непрерывную барабанную дробь.

Грузно, тихо двигались миноноски: уже первые остановились у берега и начали работу, когда последние только еще входили в русло реки. Солнце давно вышло, было светлое, летнее утро, легкий ветерок рябил воду. Мины приходилось класть под выстрелами. Отряд, начавши погружать их, сделал большую ошибку тем, что сейчас же прямо не пошел к турецкому, т. е. правому, берегу, а начал с этого, левого; вышло то, что первые мины уложили порядочно; даже около середины мичман Ниллов бросил свою мину, но, второпях неладно, так как она всплыла наверх; далее же никто из офицеров не

решился идти, так что половина фарватера осталась незащищенной. После, ночью, Подъяпольский ездил поправлять эти грехи; но все-таки, если турки не пробовали пройти тут, — что они могли бы сделать то это надобно отнести к тому, что мы были напуганы предыдущими взрывами их судов, русскими минами²².

* * *

Наши две миноноски притаились, между тем, за леском маленького острова, расположенного несколько ниже места работ. Мы слышали какой-то шум в кустах островка, но не обратили на него внимания, как вдруг из-за него показались две лодки и быстро направились к нам; уже мы приготовились встретить их маленькими ручными минами, изготовленными С. нарочно на случай рукопашной схватки, как оказалось, что это наши казаки, еще ранее нас засевшие на островке для прикрытия работ. Сделано это было Скобелевым и, по правде сказать, ни к чему не послужило.

Тем временем, со стороны Рущука, пришел пароход и стал стрелять по нашей флотилии, хотя без вреда для нее. «Николай Ларионович, — говорю Скрыдлову, — что же ты его не атакуешь?» — «А зачем его трогать, коли он близко не подходит, ведь его выстрелы не вредят». Пароход скоро ушел, вероятно, за подмогой. Видим, летит к нам миноноска Новикова. «Н. Л., почему вы не атаковали монитор? — Это не монитор, М. П., а пароход; я думал, вы приказали атаковать в том случае, если он подойдет близко... — Я приказал вам атаковать его во всяком случае; извольте атаковать! — Слушаюс-с! — Новиков повернул снова к работам. — Ну, брат, Н. Л., — говорю С., — смотри теперь в оба: если будет какая неудача в закладке мин, ты будешь козлом очищения, из-за тебя, скажут, не удалось. — Теперь атакую, теперь приказание ясно!»

Скрыдлов велел все приготовить; сам он поместился спереди, у штурвала, для наблюдения за рулевым и носовой миной, меня же просил взять в распоряжение кормовую плавучую мину; уже раньше он выучил меня, как действовать ею, когда ее бросать, когда командовать: «Рви!»

Чтобы команда была веселей, он приказал всем вымыться. — «Ты помылся, хочешь помыться? — спрашивает он меня. — Я уже вымылся. — Да у тебя мыла нет, помилуй!» — Нечего делать, помылся еще мылом.

Все мы облачились в пробковые пояса, на случай, если бы «Шутка» взлетела на воздух и нам пришлось бы тонуть, что должно было быть первым, самым вероятным последствием взрыва мины. Мы закусили немного курицей и выпили по глотку заветного хереса, после чего приятель мой прилег вздремнуть и — странное дело — его крепкие нервы действительно дали ему вздремнуть.

* * *

Я не спал, стоял на корме, облокотясь о железный навес, закрывавший машину, и следил за рекой по направлению к Рущуку. — «Идет», — выговорил тихо один из матросов; и точно, между турецким берегом и высокими деревьями острова, закрывавшими фарватер Дуная, показался дымок, быстро к нам подвигавшийся.

— Николай Ларионович! — кричу, — вставай, идет...

Скрыдлов вскочил.

— Отваливай, живо!.. Вперед полный ход!

Мы полетели, благодаря попутному течению, очень быстро. Турецкого судна не было видно.

— Н. Л.! — кричу опять, — задержись немного, чтобы нам встретить его ближе сюда, а то мы уткнемся в турецкий берег! — Нет уж, брат, ты слышал, что толкует Новиков?.. Теперь пойду хоть в самый Рущук! — Ну, валяй...

²² Турки преспокойно проходили потом этим местом, как я узнал. — *Примеч. авт.*

Вот вышел пароход, вблизи, вероятно, по сравнению с «Шуткой», показавшийся мне громадиной: С. тотчас же повернул руль, и мы понеслись на него со скоростью железнодорожного локомотива.

Что за суматоха поднялась не только на судне, но и на берегу! Видимо, все поняли, что эта маленькая скорлупа несет смерть пароходу; по берегу стрелки и черкесы стали кубарем спускаться до самой воды, чтобы стрелять в нас поближе, и буквально осыпали миноноску свинцом; весь берег был в сплошном дыму от выстрелов. На палубе парохода люди бегали, как угорелые: мы видели, как офицеры бросились к штурвалу, стали поворачивать к берегу, наутек, и в то же время награждали нас такими ударами из орудий, что бедная «Шутка» подпрыгивала на ходу.

«Ну, брат, попался, — думал я себе, — живым не выйдешь». Я снял сапоги и закричал Скрыдлову, чтоб он сделал то же самое; он послушался и приказал то же сделать матросам.

Я оглянулся в это время: другой миноноски не было за нами. Говорили, что у нее что-то случилось в машине... Дело было неладно! «Шутка» была одна-одинешенька, отряд остался далеко позади нас. Огонь делался невыносимым, от пуль все дрожало, а от снарядов просто встряхивало; уже было несколько серьезных пробоин и одна в корме, около того места, где я стоял, почти на линии воды: железная защита наша над машиной была также пробита. Матросы попрятались на дно шлюпки, прикрылись всякой дрянью, какая случилась под руками, так что ни одного не было видно; только у одного из минеров часть лица была на виду и он держал перед ним для защиты буюк, причем лежал недвижимо, как деревяшка. Мы совсем подходили к пароходу. Треск и шум от ударявших в «Шутку» пуль и снарядов все усиливались. Вижу, что Скрыдлова, сидевшего у штурвала, передернуло, — его ударила пуля, потом другая. Вижу также, что наш офицер-механик, совсем бледный, снял фуражку и начал молиться, — он был католик, — однако, потом он оправился и, перед ударом, вынув часы, сказал С.: «Н. Л., 8 часов 5 минут!» Это было недурно.

Любопытство брало у меня верх и я наблюдал за турками на пароходе, когда мы подошли вплоть: они просто оцепенели, кто в какой был позе: с поднятыми и растопыренными руками, с головами, наклоненными вниз, к нам, как в заключительной сцене «Ревизора».

В последнюю минуту рулевой наш струсил, положил право руля и нас стало относить течением от парохода. Скрыдлов вцепился в него: «Лево руля, С. С., такой сякой, убью!» — и сам налег на штурвал; «Шутка» повернулась против течения, медленно подошла к борту парохода и тихо ткнула его шестом... Тишина в это время была полная и у нас, и у неприятеля; все замерло в ожидании взрыва; минута была жуткая...

— Взорвало? — спрашивает меня, калачиком свернувшись над приводом, минер.

— Нет, — отвечаю ему вполголоса.

— Рви, по желанию! — снова раздается команда Скрыдлова — и опять нет взрыва!

Между тем нас повернуло течением и запутало сломившимся передовым шестом в пароходном канате, причем корму отнесло. Турки опомнились и с парохода, и с берега принялись стрелять пуше прежнего. Скрыдлов приказал обрубить носовой шест, и мы пошли, наконец, прочь; тогда пароход повернулся бортом, да так начал валять, что «Шутка», избитая и пробитая, стала наполняться водой; на беду еще пары упали и мы двигались только благодаря течению — это уж немного прозевал механик.

В ожидании того, что вот-вот мы сейчас пойдем ко дну, я стоял, поставивши одну ногу на борт; слышу сильный треск подо мной и удар по бедру, да какой удар! — точно обухом. Я перевернулся и упал, однако тотчас же встал на ноги.

* * *

Мы шли по течению, очень близко от турецкого берега, откуда стреляли теперь совсем с близкого расстояния. Как только они не перебили нас всех! Бегут за нами следом и стреляют, да еще ругаются, что нам хорошо слышно. Я пробовал отвечать несколькими выстрелами, но оставил, увидевши, что это бесполезно.

Мы прошли уже довольно далеко по реке, мимо целого ряда купеческих судов, стоявших между берегом и островком в правой руке. Слева тянулся все еще тот же остров с большими, развесистыми ивами; русло реки тут очень узкое. Пароход вдогонку за нами не шел; но другая беда: навстречу от крепости бежит на всех парах монитор, очевидно, вызванный пароходом.

— Николай Ларионович! — кричу Скрыдлову, но за выстрелами совсем не слышно было голоса. — Н. Л., видишь монитор? — Вижу — Что ты намерен делать? — Атакую твоей миной, приготовь ее, да бросай ближе.

Атаковать нам, почти затонувшим, несомыми течением, было трудновато; однако другого-то ничего не оставалось делать. Монитор подходил и уже сделал по нас два выстрела: я обрезал веревку, которой мина была привязана, и распорядился было бросить ее, как вдруг, на наше счастье, на конце левого острова открылся рукав реки, куда мы, собравши последние силенки машины, и свернули.

Здесь, и только здесь, вздохнулось свободно: большие суда не могли гнаться за нами теперь, и монитор успел только послать еще выстрел вдогонку.

Так как «Шутка» все более и более опускалась, то С. приказал подвести под киль парусину, чтобы несколько задержать течь, и, таким образом, мы могли надеяться благополучно добраться до дому.

* * *

Защищенные островком, мы подвели здесь итоги: «Шутка» была совсем разбита и, очевидно, не годилась для дальнейшей работы; оказались большие пробоины не только выше, но и ниже ватерлинии; свинца, накиданного выстрелами, собрали и выбросили несколько пригоршен. У Скрыдлова две раны в ногах и контужена, обожжена рука. Я ранен в бедро, в мягкую часть. Поднявшись после удара, я все время по-прежнему стоял, но, чувствуя какую-то неловкость в правой ноге, стал ощупывать больное место: вижу, штаны разорваны в двух местах, палец свободно входит в мясо. «Э-э, да никак я ранен? Так и есть, вся рука в крови. Так вот что значит рана. Как это просто! Прежде я думал, что это гораздо сложнее». Пуля или картечь ударила в дно шлюпки, потом рикошетом прошла через бедро, навывлет, перебила мышцу и на волос прошла от кости; тронь тут кость, верная бы смерть.

Из матросов никто не ранен.

Подведенные итоги выяснили прекурьезную вещь: взрыва не последовало оттого, что проводники были перебиты страшным огнем. Ваше благородие, — доложил Скрыдлову минер, — ведь проводники перебиты, — Не может быть! — Точно так; вот, извольте посмотреть...» Как С. обрадовался! Снялась с него ответственность за незнание, неуменье, пожалуй, нерадение, в которых не преминули бы его упрекнуть приятели. Когда мы удалялись от парохода, Скрыдлов только о том и жалел, что сломанный шест и недостаток паров не позволяют ему повторить атаку носовой миной; правда, мы шли тогда прямо на монитор и предстояла еще атака кормовой, но это удовольствие, очевидно, было ему менее занимательно. Приятель мой вцепился себе в волосы и вскричал с таким отчаянием в голосе, что жалко его сделалось: «Столько работы, трудов, приготовлений, все прахом, все пропало даром! — Перестань, — кричу ему, — что за отчаяние такое! Это — неудача, а не неуменье... Зато, узнавши, что при данных условиях взрыва и не могло быть, мой Н. Л. повеселел, гора у него свалилась с плеч. И то сказать: в девятом часу солнечного летнего дня атаковать, буквально под градом снарядов, накладно.

Остался, однако, один вопрос, которого мы не могли решить: почему вторая миноноска не пошла за нами в атаку? Надобно думать, что этот случай атаки неприятельского судна одной миноноской был первый и последний: он против всех правил. Новиков говорил мне потом, что командир из этой миноноски был нервен...

Впрочем, результат оказался удовлетворительный: пароход поворотил назад, так же как и монитор; значит, цель атаки была достигнута.

* * *

Кстати, позволю себе здесь сказать несколько слов по поводу волонтеров, о которых один специалист в Кронштадте выразился, что они мешают в деле. Я полагаю, напротив, что если волонтер знает дисциплину и то дело, на которое идет, то, разумеется, сумеет быть не только храбрым, но и хладнокровным, что весьма важно. Когда, например, нужно было приготовить кормовую мину, минер до того оробел, что только бессвязно поворачивался, чего-то отыскивая дрожавшими руками, и я вынул свой ножичек, чтоб обрезать веревку; другой минер, перед атакой, тоже видимо действовал не совсем сознательно, потому что без всякой нужды тронул привод, сообщавший ток мине, еще на огромном расстоянии от неприятеля; наконец, помянутый рулевой со страху положил не туда руля, да вдобавок взмолился перед Скрыдловым: «Не лучше ли, дескать, спуститься!» Все эти примеры, мне кажется, доказывают, что матрос или солдат, *вынужденный* идти вперед, не делает это с тем сознанием и разумением, как волонтер, *желающий* идти вперед.

* * *

Покинув наше убежище, С. пошел снова к месту расположения прочих миноносок, чтоб отдать отчет Новикову. Все офицеры стояли на берегу и, видимо, не знали, что у нас творилось (мы были закрыты от них во все время атаки островом).

«Взорвали?» — кричат навстречу. — «Нет, — отвечает Скрыдлов, — огонь был слишком силен, перебило проводки. Я и В. В. ранены!» Общее молчание, в котором слышалось неодобрение, только бравый Новиков сделал С. ручкой, поблагодарил за неравный бой, среди белого дня.

Отряд отдыхал, завтракал и собирался идти дальше. Нас потащили на румынский берег, из весел сделали носилки и положили на них Скрыдлова, а я пошел пешком; сгоряча я не чувствовал ни боли, ни усталости, но, пройдя с версту, почти повис на плечах поддерживавших меня матросов.

На берегу встретились Скобелев и Струков, издали наблюдавшие за установкой мин; первый, с которым мы расцеловались, только и повторял: «Какие молодцы, какие молодцы!» Бравому из бравых, видимо, было завидно, что не он ранен. Нас втащили в деревню Парапан и поместили в большом помещичьем доме, в том самом, где жил Вульферт и где я познакомился с Драгомировым. Мне рассказывали после, что видели с берега, как наш дымок понесся навстречу турецкому, и так как знали, что атаковать пошла «Шутка», то поняли, что я, многогрешный, лечу вместе с этим дымком.

Скоро прискакала из Журжева конная батарея и уже было снялась с передков против места, где отдыхали моряки, но Струков вовремя предупредил флотилию, из-за высокого берега не видевшую опасности, и она успела удрать: по грудь, а местами и по шею в воде Струков прошел целую версту и взбудоражил отряд, собиравшийся было завтракать: моряки живо собрались, большую часть своего добра успели захватить, но кое-что бросили-таки и утекли вверх по реке для закладки другого ряда мин. Батарея била по лодкам и вещам, неосторожно брошенным миноносками, и также вздумала бомбардировать дом, в котором мы помещались. По этому случаю я совершенно нечаянно насмешил всех бывших около нас офицеров: чтобы не быть расстрелянными, нам предложили перейти в один из крестьянских домов подалее в деревне; Скрыдлов согласился, но я уперся, объяснивши, как мне и теперь кажется, не без резона, что «в крестьянском домишке будут наверное блохи, а тут их нет».

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ БАЛКАНЫ. СКОБЕЛЕВ

1877-1878

— Да пустите же, Василий Васильевич!

— Нет, не пущу!

— Пустите, я вам говорю! — Мне крайне нужно.

— Не пущу!

— Да пустите, черт побери! Ведь меня ожидает главнокомандующий, отряд дожидает!

— Не пущу!

Это Михаил Дмитриевич Скобелев рвался к дверям своего кабинета, в нашем доме, в Плевне. Он заказал себе для перехода через Балканы какой-то необыкновенной длины и теплоты сюртук, на черном, бараньем меху; заказал его еврею портному Владимирского полка, и тот опоздал, не доставши, сюртука к сроку. Скобелев страшно сердился, кричал, звал своего денщика Курковского, грозил, что перепорет их всех, рвался в дверь, а я стоял у двери и не пускал, потому что он непременно кого-нибудь побил бы и, вообще, натворил бы того, о чем сам бы потом пожалел.

— Будьте уверены, — утешал я его, — что они изо всех сих теперь выбиваются докончить и принести вам сюртук, работают руками, глазами и зубами, и вы понапрасну только будете шуметь, а пожалуй, и драться.

— Где эта bestия запропастился! — кричал Скобелев через затворенную дверь. — Пустите же, наконец, Василий Васильевич, мне только этого подлеца найти, я его... И он бегал из угла в угол, как тигр в клетке.

— Не пущу!.. Не шумите и не горячитесь понапрасну. — Я-таки удержал дверь притворенной, несмотря на то, что воин несколько раз покушался прорываться.

Всему, однако, есть конец — кончилось и мученье М. Д.: явился денщик с сюртуком, сшитым и сидевшим просто ужасно. Скобелев страшно бранился, одеваясь: опять грозился всех перепороть, сюртук бросить в печку и прочее. Но главное все-таки было достигнуто, он никому не дал лизуна за горячее время ожидания.

— Ну, что, Василий Васильевич, как сюртук: скверно, а? Да скажите же!.. Что за подлецы, что за мерзавцы, с... д...

При всем моем желании успокоить и утешить его, надобно было сознаться, что сюртук сидел дурно, но делать было нечего; его превосходительство напялил его и поехал к великому князю.

Я остался ожидать моих лошадей из города Орхание, из отряда генерала Гурко, куда отправил за ним казака. Я написал с ним прощальное послание членам «Английского клуба», который составляли все мы, бывшие в штабе Гурко: Георгий Скалон, Коссиковский, Суханов, Оболенский, Цертелев, Потлин, Шаховской, Казнаков, — просил возвратить с лошадьми оставшиеся вещи, которые и получил при прелестнейшем письме от милых товарищей по походу, укорявших дружески за измену им, за переход из отряда Гурко в отряд Скобелева. Злодеи оставили только у себя мои консервы, шоколад, кофе, сладкие сухари и прочую съедобность, добытую незадолго перед тем с немалым трудом от маркитанта, и, вместо извинения, велели сказать, что, вероятно, мне это теперь не нужно, так как у «Скобелева все есть». А Скобелев, как назло, объявил, что «во время похода пусть всякий промышляет как знает, он будет заботиться только о своем желудке».

Перешел же я из отряда Гурко в отряд Скобелева потому, что по приезде в сдавшуюся Плевну, на просьбу мою начальству сказать по секрету, с кем мне будет интереснее идти теперь, получил в ответ: «Со Скобелевым».

Этюды, сделанные в гвардейском отряде Гурко, я передал доктору Стуковенко, взявшемуся доставить их на мою квартиру в Систово, и преисправно потерявшему все до одного, — а этюдов было от 30 до 40 штук, хоть небольших, но писанных на самых местах битв, буквально под неприятельским огнем. Впрочем, то, что он затерял их, было еще понятно, но что он уверял, будто передал коменданту, это уж было очень некрасиво и только ввело меня и других в бесполезные розыски.

Множество чудесных картин из времени движения гвардейского отряда по Балканам и в самых

Балканах было загублено этой потерей: в голове моей они остались, но передать их на полотне без этюдов оказалось невозможно; были наброски битвы под Правцом, под Шандорником и другие.

При выезде моем оказался сюрприз: хозяин дома, в котором я жил со Скобелевым, представил счет разным разностям, у него забранным... За такие вещи, как дрова, собиравшиеся из разбитых турецких домов, разумеется, дорого не пришлось платить, но оказалось, что не отдано, например, за двое саней... Нечего делать, пришлось поплатиться немалым количеством золотых.

* * *

Я рассчитывал догнать выступивший отряд в тот же день, но в Боготе, в главной квартире, замешкался. Великий князь был по обыкновению очень любезен. Когда приятель мой Дмитрий Скалон доложил и я вошел в юрту, его высочество был в сильном волнении, так как с минуты на минуту ожидал известия от Гурко, начавшего накануне свой знаменитый переход через Балканы по глубокому снегу.

— Ах, кабы ему удалось, кабы удалось благополучно спуститься, — говорил главнокомандующий, видимо, весьма озабоченный...

Я говорил, что, по моему мнению, и сомневаться нельзя в успехе, и так как прибыл недавно оттуда, то рассказал и начертил ему наши и турецкие позиции около Шандорника, против Араб-Конака.

— Так до свидания, там! — сказал мне главнокомандующий на прощание, протягивая руку по направлению к Балканам.

* * *

Лошадь моя, которую я теперь первый раз обновил, оказалась никуда негодной; я купил ее у ***, для рекомендации передавшего мне, что это — бывший конь Скобелева, очень уставший под генералом и теперь поправившийся. Оказалось, что либо конь был вовсе загнан, либо Скобелев и бросил его за негодность: ни шагу, ни рыси, ни галопа. Чистое наказание езда на таком высоком меланхолическом одре. К вечеру не успел добраться до Ловчи, пришлось заночевать в турецкой деревне. Только было я начал стучаться в первый попавшийся дом, бежит солдат:

— Ваше высокоблагородие, не извольте стучать, мы отведем квартиру, для этого здесь приставлены.

Оказывается, что к турецким деревням распорядились приставить охранную стражу для оберегания их от проходящих войск, и в результате было то, что турецкие деревушки до сих пор были полны великим добром, тогда как болгарские пострадали, оглодались до костей.

* * *

Подъезжая на другой день к городу Ловче, я мог разобрать в общих чертах план бывшей здесь битвы, штурма высот Скобелевым. По рассказу последнего и многих других, я знал, что битва была очень кровопролитная и что в редутах мертвые лежали буквально один на другом, грудями. Правда, что перевес русских сил перед турецкими был значителен, 20 тысяч против 8000, но зато же и высоты приходилось занимать страшно крутые, да еще с земляными укреплениями, в постройке которых турки заявили себя такими мастерами

Один из рассказывавших мне об этом сражении прехладнокровно говорил и о грудях тел, и о позах заколотых, и о зловонии, которое стояло кругом, но не вытерпел, вздрогнул всем телом, когда вспомнил, что на третий или четвертый день из-за кучи мертвых еще вытаскивали живых. Я искренне думаю, что кабы не доверили совершенно штурма укреплений Скобелеву, то они не были бы взяты.

* * *

Приехавши в город Сельви, я пошел прямо к Михаилу Дмитриевичу, который был в это время в совете с начальником штаба, полковником Куропаткиным, и начальниками частей. Я передал ему

поклон главнокомандующего и не мог не заметить, что приятель мой был что-то очень нервен.

— Представьте, — сказал он мне, — Радецкий не хочет двигаться с места; говорит, что он не намерен пробивать лбом стену; пророчит, что нас занесет снегом и прочее. Ну, да мы и одни пойдем, и если нужно умрем...

Немало беспокоило его и то, что прошедший на днях городом отряд С. М., назначенный также к переходу через Балканы, по другую сторону Шипки, реквизировал часть вьючных животных, седел и всего, что предусмотрительный Скобелев заготовил давно уже для своего отряда (Скобелев и Куропаткин заготовили все для перехода через Балканы еще в октябре, когда они бедствовали под Плевной). Нечего было делать, пришлось снова все заготавливать, не теряя ни часа времени. Куропаткин бросился в Тырново, где, с помощью губернатора, нашего общего туркестанского приятеля Щербинского, в три дня опять все достал и раздобыл.

В Габрове, куда мы затем перешли, стояло столпотворение вавилонское. Что случилось с этим миленьким, чистеньким городком: все было наполнено больными, преимущественно обмороженными на Шипке. По улицам и дворам валялись дохлые лошади, бродили женщины и дети, вдовы и сироты забалканских болгар, перерезанных турками... Зато торговля шла бойко: чаю, сахару, вина и прочего навезено было множество; сено же и ячмень продавались на вес серебра.

По улицам движение, суета, лавка невообразимые. Удивительно, что в такой массе всякого сброда не нашлось шпионов, чтобы дать знать туркам о готовившемся обходе. Те и не думали о грозившей им опасности с флангов, так что оказались захваченными совершенно врасплох.

Скобелев хлопотал о лошади, так как его, уж и не знаю которая счетом, была замучена; хвалил очень моего иноходца.

— Возьмите, говорю.

— Нет, благодарю, мне нужно белую — нет ли белой?

— Есть, но вас не сдержит — мала.

Где-то — кажется, у драгун — он достал, наконец, хорошего, высокого, белого коня. Когда я поехал на Шипку, чтобы повидать там старых знакомых, Потрушевского, Дмитровского и других, то встретил по дороге оттуда Скобелева, несущегося марш-маршем по глубокому снегу и грязи. Ну, думаю, не надолго хватит новой лошади! Он еще раз видел Радецкого на Шипке, принял от него приказания и выслушал опять твердо высказанное намерение не двигаться с занятых позиций. То же самое слышал я и от бравого генерала Д., старого же туркестанца, начальника штаба Радецкого, когда навестил его вечером в тот день: он был сильно возбужден, зимний поход через горы осуждал и пророчил нам смерть в снегу — ни более, ни менее.

План перехода Балкан в обход турецкой армии, расположенной под Шипкой, принадлежал Радецкому и его начальнику штаба Дмитровскому, но они предлагали сделать это осенью, так что, когда главнокомандующий, по взятии Плевны, дал приказ исполнить этот план, Радецкий пришел в ужас, объявил, что это движение было задумано в расчете на осень, а не на зиму, и теперь за глубоким снегом неисполнимо.

Скобелев, однако, был совершенно уверен в успехе дела, и 26 декабря 1877 года выступил к деревне Топлиш, что в предгорьях, куда уже раньше двинулись войска его отряда.

* * *

Казак мой, кубанец Курбатов, несмотря на строгий наказ поспевать за мной, так-таки и не поспел; он уверял, что за ночь «беспременно справится» в Габрове, но, конечно, за ночь просто кутнул с приятелями, так что за мою доверчивость я был наказан и не видел его и моих вещей в продолжение нескольких дней, во все время перехода через горы, где как раз не хватило мне для этюдов полотен и

красок и пришлось написать этюды снежной траншеи и др. на дощечке сигарного ящика.

Я приехал в Топлиш ночью и, решительно не зная, куда приткнуться в этой деревеньке, битком набитой войсками, сунулся к Скобелеву, но оказалось, что он уже улегся и храпел тем богатырским сном, который всегда так подкреплял его перед серьезным делом; зная его за очень нервного человека, я, признаюсь, никогда не мог понять этой способности засыпать именно тогда, когда нужно. Уж и не знаю, как я попал в хату главного доктора отряда, очень милого человека, которого встречал на перевязочном пункте, но не знал лично; он напоил меня чаем, а в соседней избе вповалку с неизвестными мне господами я переспал. Из насекомых тут была одна кавалерия, что еще хорошо — кабы пришлось спать между солдатами, то не миновать бы и серенькой пехоты.

На другой день, ранним утром, войска уже длинной, кривой линией тянулись к подъему, по подъему и по самому хребту. Скобелев был впереди, и догонять его было трудно по узкому проходу в снегу — того и смотри, наткнешься на солдатский штык. Саперы прошли здесь накануне, разгребли снег, но его все-таки осталось столько, что лошадь оступалась и проваливалась, а главное, неудобно было то, что из-за разгребенного снега образовались по обеим сторонам дороги целые стены в рост человека, коли не выше; уступая место всаднику, солдаты не могли податься в сторону, они припадали к товарищу, конечно, не без смеха и шуток:

— Штык подними, прими! Смотри, сейчас глаз вон верховому выколешь!

Приходилось постоянно проделывать гимнастические упражнения на седле, чтобы кого-нибудь не ушибить, да и самому не наткнуться на штык или не удариться коленом о вьюк с зарядами. Со штыками-то я разделался благополучно, но колена свои отколотил в «лучшем виде».

Труднее всего, конечно, было проходить сотне уральских казаков, шелшей впереди саперов с проводниками; они протапывали путь по совершенно занесенным снегом горам, ведя лошадей под уздцы и часто совершенно проваливаясь, увязая в снегу. Командовал уральцами тоже туркестанец, сотник Кирилин. За казаками рота сапер под командою Ласковского, адъютанта главнокомандующего, уже правильно расчищала намеченный путь.

В одном месте прежалкую картину представляли кучкой приютившиеся на бугре, около дороги, музыканты: в своих холодных шинелишках они сидели, тесно сжавшись от холода; музыкальные инструменты их в чехлах, некоторые огромных размеров, лежали около них; бедные артисты, им было далеко не до музыки тут.

* * *

Еще было довольно рано, когда мы остановились для привала на высокой равнине, против скалы Марковы столбы. Под деревьями, справа, разрыли в снегу место для палатки Скобелева и Куропаткина; невдалеке расположились мы. Полукругом по всей опушке леса, окружавшего равнину, раскинулись войска.

Я написал этюд этого места и успел-таки согреться у Скобелева стаканом чаю; затем, однако, пришлось прибегнуть к небольшому запасу консервов, кофе и шоколада, бывшего только у меня и, конечно, сейчас же уничтоженного нашей проголодавшейся молодежью. Лошадей мы пробовали кормить конскими консервами, но они что-то отворачивали морды, не очень охотно жевали этот корм. Как я сказал, под деревьями, кругом снежной площади, расположились войска и езде запалили костры, благо весь лес был к услугам отряда. Хотя по зареву этих огней турки и могли открыть нас, но Скобелев разумно решил, что лучше иметь неприятелем людей, чем мороз, который был порядочный. Великое было счастье для отряда, что не только вьюги, но и просто ветра не было, в противном случае зловещие предсказания Д. хоть частью оправдались бы, пожалуй. К тому же надобно сказать, что заботливостью Скобелева и его начальника штаба Куропаткина все было предусмотрено: у всех солдат были набрюшники и на ногах просаленные портянки; у каждого был запас вареной говядины, сухарей

и чаю. Кроме того, во избежание замораживания и отмораживания, приказано было солдатам наблюдать друг за другом в эту ночь.

Я укрылся всем, что у меня было: полушубком, буркой и одеялом; лег около самого огня и все-таки чувствовал, что медленно замерзаю; как ни корчился, ни свертывался кренделем, ничего не помогало — пришлось оставить надежду на сон и, закуря сигару, ждать у костра рассвета, болтая с товарищами. Часть отряда поднялась и прошла вперед еще ночью, а под утро двинулись и мы.

Было уже замечено, что интендантство не успело заготовить солдатам полушубков, подоспевших лишь к тому времени, когда армия перешла Балканы и настала жара. Когда заботливый Пашотин выпросил позволение раздать своему полку тулупы, оставшиеся от замерзшей дивизии Гершельмапа, оказалось, что, несмотря на долгое лежание в складе, полушубки были полны насекомыми и солдаты предпочли идти через горы в холодных шинелях.

Я писал этюд траншеи, вырытой в снегу, к стороне турецких позиций (после была исполнена картина этой траншеи), когда Скобелев проехал вперед и тут, даже и по этой дороге, галопом; солдаты бодро и весело отвечали на его привет.

Надобно было видеть, как удивились турки, когда мы вышли из лесов на открытый склон горы, к ним обращенный. Они попробовали сделать несколько выстрелов из орудий, но без вреда нам — где попасть в растянутую линию! Пули же их вовсе не долетали до нас.

Все позиции турецкие, а за ними и наши, были отсюда как на ладони, и в бинокли мы хорошо видели все подробности их житья-бытья в землянках.

Вон гора св. Николая, где наши солдатики с нетерпением следили теперь за нами, ждали результата нашего обхода, который должен был, наконец, освободить их от долгого мучительного сидения в засыпанных снегом, совершенно обовшивевших землянках Шипки.

Вон турецкая батарея на так называемой Лысой горе: турки большими группами рассуждают о том, что готовит им впереди «кизмет», т. е. судьба. Помешать нашему движению они теперь уже не в силах, надобно было подумать об этом раньше; нападение на нас с фланга, с места теперешнего их расположения, по глубокому снегу было очень трудно — близок локоть, да не укусишь. Оставалось помешать нам спускаться, но мы уже и спускаться начали — совсем опоздали наши враги!

У самого начала спуска две высокие горы, два пика, расположены по обе стороны дороги. Как старый военный, я сейчас же заметил К., что эти две возвышенности необходимо немедленно же и крепко занять.

— Что, что вы говорите, Василий Васильевич? — спросил ехавший впереди нас Скобелев, всегда чутко прислушивавшийся к тому, что говорили около него.

Я повторил, что эти высоты, как командующие спуском, необходимо на всякий случай занять...

— Да, Алексей Николаевич, — обратился он к К., — это совершенно верно, прикажите сейчас же занять их и окопаться.

— Слушаю-с! — ответил К. неохотно — беда, как не любят военные, даже и развитые, советов статских, хотя, собственно говоря, я имел право считать себя более военным, чем большинство офицеров отряда.

Скобелев, впрочем, был выше этого и всегда был не прочь принять совет, если находил его разумным, откуда бы он ни шел.

Полковник Куропаткин, начальник штаба Скобелева, был, бесспорно, один из самых лучших офицеров нашей армии: невысокого роста, не особенно представительной красоты, но храбрый, разумный и хладнокровный, он был многими чертами характера противоположен Скобелеву, который давно уже был с ним дружен, уважал и ценил его, хотя часто с ним спорил; и надобно сказать, что в

спорах этих рассудительный начальник штаба оказывался по большей части более правым, чем блистательный, увлекавшийся генерал. Нельзя, однако, сказать, чтобы кругозор Куропаткина был шире, чем Скобелева, — часто бывало наоборот: например, в вопросе возможности зимнего перехода через Балканы, вопросе громадной важности для исхода всей кампании, К. держался мнения Радецкого и Дмитровского, т. е. был абсолютно против этого перехода... Скобелев же, напротив, был душой и телом за поход и совершенно уверен в счастливом исходе его. «Перейдем! а не перейдем, так умрем со славой». — повторял он мне свою любимую фразу.

— Он только и знает, что умрем, да умрем, — говорил со мной об этом К. еще в Плевне. — умереть-то куда как не трудно, надобно знать, стоит ли умирать...

К. не был так шегольски и в то же время так дерзко храбр, как Скобелев, но и он тоже был замечательной храбрости; и лошадей-то под ним убивало, и зарядные-то ящики у него перед носом взрывало, и самого-то его много раз ранило, а он все жив да жив и теперь также неисправим по части измышления всякой пагубы на неприятелей России, как и прежде — коли не больше.

* * *

Скоро пришло из передового отряда саперов донесение о том, что турки наступают. Я видел, что краска бросилась в лицо Скобелеву при этом известии; он тотчас же обратился к солдатам:

— Поздравляю вас, братцы, с началом дела, турки наступают!

Солдаты дружно ответили обычное: «Рады стараться, ваше превосходительство!»

Послан был ординарец Лукмасов с двумя ротами на помощь саперам. Скобелев, знавший статус Георгиевского креста наизусть, заранее сказал ему, что он получит Георгия за это дело: «Выбить их! Молодцом у меня смотрите!»

Спуск был едва ли не труднее подъема; местами лошадь уходила в снег по шею и я был искренно благодарен моему рыжему иноходцу за отчаянные усилия, с которыми он выносил из сугробов, ни разу не ткнувши меня носом в них. Местами, однако, ехать верхом не было никакой возможности, надобно было скользить вниз. Солдаты устроили праздничные игры и скатывались кто благополучно, кто кувырком со смехом и шутками. Самому-то, впрочем, съехать было не трудно — куда ни шло, но заставить съехать на том же инструменте лошадь было не так удобно. Уж не помню, как свел я своего коня с одного крутого места, настоящего обрыва — кажется, мы вместе скатились! Разработка этого места, конечно, потребовала бы очень много времени, почему, вероятно, наши саперы и отступились от него, но, с другой стороны, и оставлять такие места для спуска по ним кавалерии и особенно артиллерии — очень и очень рискованно, считая, что невозможного на свете нет.

* * *

Мы были уже на южном склоне Балкан. Скобелев остановился на одной из крайних возвышенностей и долго, подробно осматривал в бинокль долину Тунджи и турецкие позиции, расстилавшиеся перед нами.

Налево гора св. Николая с Шипкой. Расположение наших полков резко обозначалось черными грязными линиями по белой массе снега. В бинокли мы видели все подробности: вон на самой скале св. Николая батарея Мещерского, названная так по имени убитого на ней офицера этого имени. От привычки изъясняться на французском диалекте бравый князь плохо говорил по-русски и поэтому был сначала предметом насмешек и офицеров, и солдат, но потом своим бесстрашным поведением заслужил общее уважение и умер молодцом, не сморгнув, на своем посту.

Помню, за мой первый приезд на Шипку я рисовал эту батарею, но огонь был так силен, что, каюсь, я поминутно кивал и отклонялся головой от свистевших пуль, гранат, а временем и бомб, летавших с турецких батарей из-за горы. Пули на этом пункте летели буквально дождем и оберегаться от них было, впрочем, просто ребячество.

Бомбы назывались на Шипке воронами — эти вороны даже землянки прошибали! В одной, рассказывали мне, офицеры играли в карты, когда ударила такая ворона и всех поубивала, поранила.

Вон развалина турецкого блокауза, в окне которого я было расположился раз писать долину Тунджи, видневшуюся тогда в каком-то чудесном фиолетовом тумане. Хоть у меня и был складной стул, но, чтоб не сидеть на открытом месте, я свернул под закрытие этого домика и расположился на подоконнике — авось под крышей не заденет пуля! Не тут-то было: турки, хорошо наблюдавшие все, что делалось у нас, с их очень близких позиций, конечно, сейчас же заметили хромого любителя видов — это было в сентябре, когда рана моя еще только слегка затянулась — и угостили меня раз за разом тремя гранатами: первая ударила в стену без большого вреда, вторая — в крышу, хотя, и не в то место, где я сидел, но, однако, забросала весь блокауз обломками и загадила пылью мои краски: третья, наконец, с адским шумом и треском пробила крышу совсем рядом с моим подоконником, взрыла и набросала на меня и мое писание такую массу земли, камней и всякой дряни, что я решился уйти, не кончивши этюда — от греха!

Еще далее по горе «центральная» и «круглая» батареи и между ними землянки Минского полка, в одной из которых у приятеля моего Насветовича я провел несколько дней.

Далее тоже все знакомые места: вон по ту сторону св. Николая турецкие батареи «Девятиглазка», «Воронье гнездо», «Сахарная голова». Вон та часть дороги, по которой в последнее время никто уже не ездил — пробирались объездом, но за горой, потому что она вся была на виду у турок — и с которой, несмотря на то, что ее обыкновенно проскакивали марш-маршем, и всадники, и телеги с лошадьми часто сбрасывались в кручу гранатами и бомбами — недаром она называлась «Райской долиной».

Вниз от русских позиций турецкие землянки и батареи, а совсем внизу, в долине, от развалин деревни Шипки до деревни Шейнево — укрепленные курганы, центр турецкой позиции, за которыми начинается густая дубовая Шейновская роща. Вдали, прямо под нашим спуском кряж Малых Балкан, направо — деревня Иметли, по имени которой назывался и наш перевал; туда и далее направо, в туиджинскую долину, Скобелев и Куропаткин смотрели особенно пытливо, так как, по слухам, оттуда двигались турецкие войска Сулеймана-паши, на помощь шипкинской армии.

* * *

Передовые войска остановились на привал в ущелье, а Скобелев пошел по обыкновению рекогносцировать дорогу. Он поехал было верхом, но турки, засевшие внизу за скалами, открыли такую пальбу, что пришлось сойти с лошади. С ним был начальник штаба Куропаткин, помощник его граф Келлер, я и несколько казаков, не помню — был ли кто еще из офицеров, кажется, был ординарец Марков. Турки буквально осыпали нас свинцом, и выжить их оттуда не было возможности, так как ружья Крынка не доносили наших пуль до них.

Я начал набрасывать в альбом открывшуюся перед нами часть долины, а Скобелев прошел еще вперед. Смотрю, уж тащат назад под руки Куропаткина, бледного, как полотно. Он остановился перевести дух за тем же обломком скалы, за которым я рисовал, пуля ударила его в левую лопатку, скользнула по кости и вышла через спину

Бедняга страшно осунулся и все просил посмотреть рану и сказать ему по правде, не смертельна ли она. Скоро пришел Скобелев, и мы все двинулись назад. К., разумеется, тащили под руки, так как он с трудом передвигал ноги.

Мне случалось быть в очень сильном огне, но в таком дьявольском, признаюсь, еще не доводилось. Даже на Дунае при нашей минной атаке, когда нас осыпали и с берега, и с турецкого судна, кажется, огонь не был так силен.

Здесь турки стреляли на самом близком расстоянии и лепили пуля в пулю, мимо самых наших ног, рук, голов. Так и свистел свинец — то с писком, то с припевом и, шлепнувшись в скалу, либо падал к

ногам, либо рикошетировал. Не то что бы следовал выстрел за выстрелом, нет, то была сплошная барабанная дробь выстрелов, направленных на нашу группу — свист назойливый, надоедливый, хуже комариного.

Моя лошадь и лошадь Скобелева, которых вели за нами в поводу, остались целы, но у болгарина моего убили коня, также как и вообще убили немало людей и животных.

Я шел с левой стороны Скобелева, и, признаюсь, не совсем хладнокровно слушал эту трескотню.

«Вот, — думалось, — сейчас тебя, брат, прихлопнут, откроют тебе секрет того, что ты так хотел знать: что такое война!»

Помню, однако, что я наблюдал еще Скобелева. Смотрю на него и замечаю, не наклоняется ли он хоть немного, хоть невольно, под впечатлением свиста пуль? Нет, не наклоняется нисколько! Нет ли какого-нибудь невольного движения мускулов в лице или руках? Нет, лицо, по-видимому спокойное и руки, как всегда, засунуты в карманы пальто. Нет ли выражения беспокойства в глазах, я разглядел бы его, даже если бы оно было хорошо, глубоко скрыто? Кажется, нет, разве только бесстрастность взгляда указывала на внутреннюю тревогу, далеко, далеко запрятанную от посторонних. Идет себе мой Михаил Дмитриевич своей обыкновенной походкой с развалцем, склонивши голову немного набок.

«Черт побери, — думал я, — да он все тише и тише идет, нарочно, что ли!»

Пальба просто безобразная, то и дело валятся с дороги в кручу люди и лошади. Бравый многоопытный Куропаткин, влекомый сзади под руки, кричит оттуда:

— Бегите, кто цел — всех перебьют!

Граф К. и еще некоторые вприпрыжку бросились вперед: я, как более обстроенный, остался со Скобелевым.

— Ну, Василий Васильевич, — говорил он мне после, когда поворот дороги закрыл нас, наконец, от турецких пуль, — мы сегодня прошли сквозь строй!

* * *

Мне интересно было узнать внутреннее чувство Скобелева во время сильной опасности, и я спрашивал его потом:

— Скажите мне откровенно, неужели это правда, что вы приучили себя к опасности и уже не боитесь ничего?

— Что за вздор, — ответил он, — меня считают храбрецом и думают, что я ничего не боюсь, но я признаюсь, что я трус. Каждый раз, что начинается перестрелка и я иду в огонь, я говорю себе, что в этот раз, верно, худо кончится... Когда на Зеленых горах меня задела пуля и я упал, моя первая мысль была: «Ну, брат, твоя песня спета!»...

Признаюсь, мне приятно было слышать это от Скобелева, потому что после того моя собственная личность казалась мне менее трусливой. Не то что бы я особенно преклонялся перед храбростью, но трусость-то, нервность, с которой так часто приходилось встречаться, была уж очень противна. Сознывая, что под сильным огнем я чувствовал себя не совсем спокойным и боялся, что вот-вот меня прихлопнет и начатые картины останутся не оконченными, я доволен был, что Скобелев смотрел в глаза смерти далеко не хладнокровно, только хорошо скрывал свои чувства — значит, и я не вполне трус!

— Я взял себе за правило никогда не кланяться под огнем — говорил он мне, — раз что позволишь себе делать это — зайдешь дальше, чем следует...

Теперь после этого ответа я искренне думаю, что нет такого человека, который был бы спокоен под огнем, как бы ни старался он казаться им.

Куропаткину наскоро перевязали рану и поташили на носилках, под надзором ординарца Скобелева, в Габровский госпиталь, назад через Балканы. Он сказал перед уходом:

— Вот вам мой последний совет: выбейте поскорее этих турок во что бы то ни стало, иначе они перегубят много народа.

Мы прощались с К.: Скобелев чуть-чуть всплакнул даже, но, впрочем, быстро отерши слезы, оправился.

— Полковник, граф Келлер! Вы вступите в должность начальника штаба.

— Слушаю, ваше превосходительство!

— Вот и производство вышло, — сострил удалявшийся Куропаткин.

Крепко чувствовали все в отряде его потерю; Скобелев сказал мне, что он был ему незаменим.

Генерал приказал штурмовать турок, но полковник Панютин, которому дано было это приказание, просил дозволения сначала попробовать выжить их огнем.

У него был один батальон, вооруженный ружьями Пибоди, взятыми при сдаче Плевны, и две роты с этими ружьями буквально засыпали турок свинцом, так что не далее как через несколько минут ни одного выстрела не было более оттуда, ни одного неприятеля там не осталось, все утекли. Более поразительного примера того, что значит хорошее вооружение, мне редко случалось видеть.

Конечно, Панютин спас тут много солдатских жизней, потому что штурм засевших за камнями турок не обошелся бы без потерь. Сколько же всего наших жизней было бы спасено, если бы ружьями, взятыми при сдаче Плевны, вооружили часть отряда: ружей этих было несколько десятков тысяч с миллионами зарядов.

Все эти десятки тысяч ружей Пибоди, взятые у турок, пролежали грудями под снегом, за все время, что я пробыл в Плевне, т. е. около двух недель, так же как и ящики с зарядами: эти последние валялись в великом множестве и по самой дороге, и по сторонам ее, на нескольких верстах расстояния, а так как никто не прибирал их, то проходившие повозки давили и взрывали их сотнями, тысячами.

* * *

Скобелев как будто был выбит из своей колеи раной К. Более обыкновенного он был нервен и беспокоен и все отводил меня в сторону.

— Василий Васильевич, как вы думаете, ладно у меня идет? Как на ваш взгляд: нет беспорядка? Граф К. хороший офицер, но он неопытен — боюсь, не вышло бы путаницы!

Я успокаивал его, говорил, что покамест, как мне кажется, все идет как следует.

— Заняли вы высоты, командующие перевалом?

— Да, люди уже посланы туда!

— Приказали им окопаться?

— Приказал.

— Удостоверьтесь, исполнено ли приказание!

Удостовериться послан был Х., и мне смешно вспомнить, как этот бравый офицер, увидя на упомянутых высотах людей, принял их за турок. Скобелев не унимался, все беспокоился:

— Василий Васильевич, вы были у Гурко, скажите по правде, больше у него порядка, чем у меня?

— Порядка не больше, но он меньше вашего горячится.

— Да разве я горячусь?

— Есть немножко, вон в одно и то же место послали третьего ординарца...

Помнится, в Плевне, когда я только что воротился из гвардейского отряда, мне случилось в приятельской беседе с обоими Скобелевыми и еще одним генералом защищать Гурко от некоторых несправедливых нападок, рассказней, повторяемых обыкновенно из двадцатых уст. Михаил Дмитриевич, равнодушно относившийся к положению Гурко, как начальнику сотысячной армии, заподозрил меня в пристрастии и рассердился...

Дали знать, что ранен адъютант главнокомандующего Ласковский; хотя рану его называли легкой, жаль было отряду потерять этого хорошего, хладнокровного офицера.

Генерал приказал между тем полковнику Панютину выбить турок из траншей, под самым спуском, откуда они портили опять немало нашего народа.

Генерал Столетов, один из моих стариннейших знакомых еще по Кавказу, послан был занять деревню Иметли. Надобно заметить, что С. был уже полковником, когда М. Д. Скобелев надевал еще только эполеты: теперь первый, в чине генерал-майора, был под командой у второго, генерал-лейтенанта и командира отдельного отряда, и в оправдание свое говорил:

— За такими рысаками, как Скобелев, не угоняешься.

Мы провели эту ночь на снегу, в нашем ущелье, кругом костра, который с трудом поддерживали сырыми прутьями, да и те-то раздобывали с трудом: казаки и вообще нижние чины кругом Скобелева были такая вольница, что нимало не заботились о нем, так что только, когда, теряя терпение, он пускал в ход брань и угрозы, они бросались исполнять требуемое. «Черт вас побери, я вас всех перепорю, — кричал он обыкновенно в таких случаях, и только после этого денщик его вяло, громко ворча, а другие, как будто и всерьез боясь угрозы, исполняли, что нужно. Угрозы, впрочем, не всегда оставались только угрозами, случалось, переходили и в дело; С. давал иногда страшные затрещины, а денщику Курковскому за грубость ординарцу Х. было в Плевне всыпано столько горячих, что несколько дней он буквально едва бродил. Это не помешало С., сейчас же вслед за экзекуцией начать снова заигрывать со своим драбантом, принимавшим, однако, тогда шутки патрона очень мрачно, сдержанно.

Кругом костра, кроме Скобелева, было несколько человек офицеров, но Н. Д., нашего бравого и всюду поспевшего корреспондента, что-то не было видно, верно он находился в Иметли. Не знаю, спал ли Скобелев, пожалуй, он и тут сумел заснуть, но я только забывался. Голова была тяжела, на желудке пусто — мы ничего не ели и выпили лишь по стакану чая. Особенно тяжело должно было быть раненому Ласковскому, тут же на снегу валявшемуся в коротеньком полушубке. Рана его была, что называется, очень счастливая: пуля ударила под мышку, не попортив груди; он отправился было даже наутро с нами осматривать неприятельскую позицию, не слушая советов беречься, но я силой воротил его, заставил уехать назад в Габрово, в госпиталь, к великому удовольствию и счастью его преданного денщика.

Утро было прекрасное. Небольшой турецкий отряд стоял у нас под горой, как будто с намерением помешать спуску, но вскоре, не попробовав счастья, отошел — кажется, неприятель не блистал ни распорядительностью, ни решительностью.

С Шейновских батарей открыли орудийный огонь, а с нашей стороны нечем было отвечать, поэтому, когда Скобелеву дали знать, что по такой дороге невозможно провезти артиллерию, я настоял, чтобы хоть несколько орудий было проташено. Генерал так и приказал. Покамest пробовали отвечать с дороги из наших горных пушчонок: снаряды далеко не долетали, но шум выстрелов производил известный эффект, давая знать неприятелю, что и мы с артиллерией, и, ободряя своих солдатиков, с удовольствием замечавших:

— Вона! Наша пошла на ответ — вали!

Скобелев просил меня сделать набросок местности с расположением турецких войск, чтобы приобщить его к своему донесению. Так как сверху, с дороги, многое было не видно, то я спустился

пониже, да и не рад был: пульт летало там такое множество, что, признаюсь, только стыд не позволил задать сейчас же тягу, и я лишь наскоро, с грехом пополам, набросил план; при этом случае я хватился моего альбома с рисунками — его не было! А альбом-то был с заметками от Плевны и Горнего Дубняка до самых последних дней. Перебирая и памяти, где бы я мог потерять эту дорогую для меня вещь, я вспомнил, что последний раз держал ее в руках, когда бросился обнимать раненого Куропаткина — выходило, что так нежничать вдвойне не следовало; во-первых, потому, что К. проворчал: «Что вы целуете-то меня, посмотрите лучше рану», во-вторых, — потому, что за этой нежностью я выпустил из рук и оставил на снегу альбом свой. Скорей бросился я туда искать, но ничего не нашел, — оно было и понятно, потому что множество народа конного и пешего прошло уже по этому пути и коли не сбили, не сбросили, то, конечно, замяли мою бедную книжку.

При поисках моих увидел я, какое множество солдат, казаков и лошадей было вчера перебито, главным образом, во время памятной рекогносцировки Скобелева. У одного вышиблены были буквально целиком вся грудь и живот — хоть бы что в середине осталось!

Нет как нет моего альбома; плакал он вместе со всеми заметками, так мне нужными для будущих работ, решил я мысленно — и в это время встретил знакомого офицера Владимирского полка. — Знаете ли, — говорит он, — ведь нашли альбом вашего покойного брата; должно быть, турки вынули у него, у мертвого, и занесли сюда в Иметли.

— Да это, должно быть, мой альбом, который я разыскиваю; у кого вы его видели?

Он назвал фамилию офицера Донского казачьего полка и я поскакал его искать. Полк этот спустился в полном составе, и Скобелев лично расставлял его в долине.

Наконец-то я добрался до моей дорогой тетради; оказалось, что солдатик поднял ее на дороге, на том месте, где я рисовал и где отдыхал раненый К., взял со с собой и в Иметли, в темноте около колодца, снова обронил; поднял казак, передал офицеру, а офицер передал мне!

* * *

Я воротился на место нашего бивуака; снег везде таял, было очень жарко, меня томила жажда. Остановившиеся на роздых солдаты пили чай; я присоединился к одному, любезно предложившему мне не чашку, а крышку походного котелка, с чем-то, похожим на чай, но крепко отдававшим похлебкой.

В разговоре с солдатом я узнал, что их скупо наделяли чаем, а особенно сахаром; этого последнего выдавали, правда, положенное число кусочков, но до того микроскопических, что чай приходилось пить буквально внаглядку.

Хотя у Скобелева, вообще говоря, все касающееся продовольствия солдата велось порядочно, ибо он строго смотрел за этим и взыскивал, но тем не менее я сожалею, что забыл сказать ему об этих кусочках сахара — я уверен, что за все остальное время кампании они были бы тогда не так микроскопичны в его отряде.

* * *

Я нашел Скобелева на спуске разговаривающим с князем Вяземским, начальником бригады болгарского ополчения, если не ошибаюсь, приехавшим донести о том, что невозможно протащить по этой адской дороге даже и одного орудия. Скобелев не настаивал более, но я пожалел; будь это у Гурко, тот приказал бы провезти, «во что бы то ни стало», и наверное были бы проташены хоть два орудия.

Вспоминаю, как под Этрополем мой приятель генерал Д. дал знать Гурко, что «орудия втащить на высоты, как было приказано, нет никакой возможности», на что получил лаконический ответ: «Втащить зубами», и орудия были втащены, правда, не зубами, а волоком, но ведь для дела это было безразлично.

Князь В. в беседе со Скобелевым доложил также, что с перевала давно уже были на виду, а теперь стали видны и со спуска передовые части отряда князя Мирского, спустившегося в долину с другой стороны Шейнова. Действительно, хотя с трудом, но можно было рассмотреть вдаль, на белой массе снега, небольшие темные черточки — полки, двигавшиеся по направлению к Шейнову, т. е. уже наступавшие на турок; даже слышна была трескотня выстрелов. Скобелев расспрашивал В. о том, какие части он встретил на пути: спустились из 16-й пехотной дивизии два полка и спускался третий; кавалерия еще вся была на пути, кроме одного полка казаков — очевидно, отряду никак было не собраться за сегодняшний день.

— Как вы думаете, Василий Васильевич, — спросил меня Скобелев, указывая, на тот отряд, — скоро ли они дойдут до Шейнова?

— Коли турки не задержат, часа через 2-2.5.

— Так, пожалуйста, скажите Панютину, чтобы выступал в траншеи!

Я поскакал так, что мой бедный рыжий иноходец подумал, вероятно, что я с ума сошел — скакать, да еще по такой дороге, когда он заведомо уморился и насилу волочил ноги! Приказание было слишком давно ожидавшееся, так что, еще не доскакав до П., я крикнул ему сверху:

— Полковник Панютин, извольте выступать!

Тот в свою очередь обрадовался, не заставил повторять себе это два раза, а ответив только: «Слава Богу!», сняв фуражку, перекрестился и двинулся вперед так быстро, что когда, обогнув большую извилину дороги, я поскакал к нему — он уже миновал траншеи.

— Генерал велел выступить покамест только до траншеи говорю.

— Мы миновали их уже, что же вы раньше не сказали!

— Кто же знал, что вы так зашагаете...

Смотрю, марш-маршем несется Скобелев прямо к нам.

— Василий Васильевич, вы двинули войска за траншеи?

— Я!

— Прикажете остановиться, ваше превосходительство? — спросил П.

— Нет, нет, я только что хотел двинуть вас дальше; ступайте вперед, остановлю вас после, когда будет нужно.

У меня как гора с плеч свалилась!

Выстрелы со стороны отряда Мирского учащались, стреляли уже залпами, слышалось «ура! ура!» наших и «Аллах!» турок. Очевидно, с той стороны разгорелся уже бой и нам следовало идти им на помощь, но с чем? Спустившиеся силы были совсем ничтожны, а остальная часть двигалась по перевалу очень медленно, на что Скобелев страшно бесился. Несмотря на то, что он посылал ординарца за ординарцем торопить, кавалерия шла убийственно тихо и совсем загородила путь остальной пехоте.

Предполагая, что хотя что-нибудь надобно было бы оставить в резерве, на случай встречи с слишком неравными силами турок, у которых, по сведениям, войска было немало, пришлось бы начинать бой с одним полком, что, очевидно, было просто неразумно. Чтобы тем не менее отвлечь часть сил неприятеля на себя, генерал демонстрировал, построил батальоны к атаке и выдвинул вперед горную артиллерию. Так как пушчонки наши продолжали «не хватать», то подрыли им передки, еще и еще, и добились, наконец, того, что они стали махать прямо в середку неприятеля. Там крепко зашевелились, очевидно, стали готовиться к встрече нас, особенно когда я уговорил П. дать два залпа и прокричать полком «ура!»

Три турецкие орудия отвечали нам; вдоль всей деревни выдвинулась сплошной линией конная цепь, по-видимому, черкесов.

Мы стояли совсем близко к неприятелю и, конечно, не только заставили его отвлечь часть сил на нас, но и удержали в бездействии немало их резервов.

Скобелев решил, собравши за ночь все свои силы, нанести завтра туркам решительный удар. Он несколько раз говорил об этом, и я лично крепко одобрял это решение... Когда Михаил Дмитриевич подошел к Панютину, стоявшему с полком в передней линии, и сказал, что атакует завтра, бравый полковник ответил:

— Что, ваше превосходительство, теперь Алексея Николаевича (Куропаткина) нет — и толку, кажется, у нас не будет.

Несмотря на то, что это было сказано громко, милейший М. Д. только ответил:

— Каково он мне льстит! Подождите, успеете еще!

У П., очевидно, руки неудержимо чесались; что касается меня, как ни ничтожно и мало авторитетно могло быть мое мнение, я так-таки полагал, что следовало воздержаться от атаки с нашими ничтожными силами. Конечно, все мы чувствовали, что следовало «идти на выстрелы», и Скобелев мучился более, чем кто-нибудь другой, но невозможно было сделать это теперь, с расчетом на успех — войска не успели сойти с гор.

* * *

Уже темнело. Генерал велел с наступлением ночи отвести войска назад; я посоветовал ему приказать разложить огни по всей линии прежнего расположения войск с тем, чтобы продолжать отвлекать в нашу сторону внимание турок. Скобелев так и сделал.

Со стороны другого отряда давно уже стало затихать и теперь все смолкло. После мы узнали, что он имел тут жаркое дело.

Чего стоило чуткой, нервной, подвижной натуре Скобелева удержаться от атаки в этот день — я это знаю, так как все время был с ним. По большей части мы были одни, потому что он постоянно отходил в сторону, с желанием высказать то, что у него было на душе, то, что его, видимо, беспокоило, душило:

— Как вы думаете, Василий Васильевич, хорошо я сделал, что не штурмовал сегодня? Я знаю, скажут, что я сделал это нарочно, будут упрекать меня в том, что я с умыслом не атаковал, что не хотел помочь; ну, что ж! Я подам в отставку!!

— О какой отставке вы говорите, — успокаивал я его, — вы сделали то, что должны были сделать, то, что могли. Вы отвлекли на себя часть турецких сил, но штурмовать с одним полком было немыслимо...

К нам подошел тут Столетов; я взял его в свидетели, просил его сказать свое откровенное мнение: он без обиняков высказался, что с такими ничтожными силами идти на крепкую позицию было крайне рискованно, если не невозможно.

Скобелев как будто немного успокоился, но он был вполне военный человек и его чутье подсказывало ему, что вышло что-то неладное... что он опоздал спуститься с гор и не поспел на подмогу своим.

Он много раз еще возвращался к тому же:

— Василий Васильевич, подите сюда на минуточку; ведь я не мог иначе сделать? Ну, что же, ну, оставлю службу, ну, подам в отставку, коли будут упрекать!..

Душевно было жаль слушать его оправдания, этот плач воина, не поспевшего на выручку своих!

Он обошел войска, везде велел окопаться, и окопаться так, как если бы предстояло серьезное нападение неприятеля, причем беседовал с солдатами, вспоминая случаи, где они пренебрегали окапываться и страдали через это.

Признаюсь, я до сих пор не знаю — была назначена Радецким общая атака обоих отрядов на этот день или нет? Если да, то, конечно, на Михаиле Дмитриевиче лежала известная доля ответственности за то, что он не спустил с гор весь отряд к назначенному времени, хотя это и оказалось материально невозможным; коли же нет, то, напротив, ответственность на том отряде, который атаковал, не будучи уверенным в том, что Скобелев в состоянии поддержать их, что он уже успел спуститься.

Видя крайнюю нервность Скобелева, я предложил ему послать сейчас же одного из его ординарцев к Радецкому с донесением о том, что сделано и что предстояло сделать завтра, а также для испрошения инструкций, если бы таковые имелись, — это должно было хоть занять, успокоить его.

— Да невозможно съездить теперь к Радецкому и воротиться до утра, — ответил он.

— Напротив, я уверен, что возможно; пошлите Дукмасова, он бравый малый; скажите ему, что к утру завтрашнего дня он должен воротиться. Исполнит — дайте ему креста; не исполнит — под арест.

Скобелев согласился.

Я отыскал Дукмасова, сказал ему, чтобы он приготовился немедленно ехать через горы, и этот донец-молодец, не сморгнувши, пошел «справляться». Сказать правду, в 16-17 часов два раза переехать через Балканы, да еще подняться на Шипку к Радецкому и спуститься оттуда, и все это по ужасной дороге, сплошь запруженной войсками — была шутка не легкая, однако, Дукмасов исполнил это.

Ночевать мы воротились в Иметли. Вдоль линии неприятельских позиций, на местах бывшего расположения наших войск, ярко горели костры, держа в беспокойстве турок.

В деревне оказалось много сена, но жилыми помещениями она была небогата, так как большая часть домов была разрушена. На беду мою, конный болгарин, которого мне дали и у которого убили на рекогносцировке лошадь, наскучив, вероятно, таскать мои вещи, либо продал, либо бросил их и пропал сам; у него были мой бинокль, револьвер и другие нужные походные принадлежности. Особенно жалко мне было револьвера, как одной из немногих вещей, доставшихся мне после убитого под Плевной брата моего Сергея.

Долго бродил я по деревне между кострами в поисках болгарина — аж измучился. Усталый и голодный, пошел в избу, отведенную для Скобелева.

— Нет дома.

Побродивши еще, снова зашел.

— Все еще не приходил.

Ну, думаю, дождусь, иначе совсем плохо, есть нечего. «Теперь, должно быть, скоро будет, — говорил казак его, — ужин готов».

У меня слюнки текли.

Вот, должно быть, и он: слышны у калитки шаги; в страшной темноте Скобелев наткнулся на казака и, должно быть, под влиянием недовольства сегодняшним днем, ударил его так сильно, что тот с ног слетел.

— Что ты мне под ноги лезешь, скотина.

Потом, разглядевши меня: «Это кто тут такой? Ах, это вы, Василь Василич. Ну, извини, голубчик, — продолжал Михаил Дмитриевич, обращаясь к казаку, — поцелуй меня, не сердись!.. Пойдемте, Василий Васильевич, поболтаем за ужином. Эй! Дайте бутылку шампанского».

Пьяницей Скобелев никогда не был, но шампанское очень любил, пожалуй, даже слишком, и дядя его, всеильный тогда граф А., снабжал его иногда ящиками такого хорошего вина, о каком мы могли только мечтать и грезить. В Плевне, помню, он уверял, что уже допиваем последние бутылки, что через горы он не потащит ни одной, но, очевидно, это была только военная хитрость — так как нашлась еще заветная бутылочка, а завтра, если турки будут основательно побиты, найдется, вероятно, и еще одна. Собеседник мой был, однако, смущен, во-первых, думаю, неотвязной мыслью о том, что он не успел атаковать сегодня турок и что его обвинят в намерении провалить Мирского, а во-вторых, и тем отчасти, что я был невольным свидетелем того, как ни за что, ни про что полетел с ног бедный казак. Так разговор наш и вертелся опять более на неразумности атаки с малыми силами, на предположениях о том, что было сегодня в другом отряде и прочее.

Я не знал, где приютиться на эту ночь и очень обрадовался, когда нечаянно набрел на избушку, занятую ординарцами Скобелева. У них был разведен огромный огонь в камине; на полу, вповалку, мы отлично выспались.

Вся молодежь, окружавшая Скобелева, была далеко не модная, но она была хорошо обстреляна, невзыскательна и ежедневно порхала и летала через всевозможные опасности — истинно, боевая молодежь.

* * *

На следующий день я встал до света и сейчас же поехал на передовую линию, в сопровождении казака, которого, по распоряжению Скобелева, дали мне из Донского полка, так как мой кубанец, все еще «справлялся» и не являлся. Было сыро, стоял туман, кругом догорали солдатские костры. Скобелев что-то не торопился начинать дела, может быть, дожидался Д. с Шипки от Радецкого. Уже совсем рассветало, когда я въехал на один из курганов вместе с Харановым, ординарцем Скобелева, для наблюдения за неприятелем. Бравый товарищ мой, осетинский офицер, не был расположен к писанию, почему я доносил генералу, время от времени, на лоскутках записной книжки о том, что мы перед собой замечали в движениях неприятеля.

Снизу мгла поднялась уже и деревня Шейнова с турецкими редутами и траншеями ясно открылась, но Шипка и все горы были все еще наполовину в облаках. В это время, как и всю ночь, у нас в долине и наверху на Шипке то и дело раздавались одиночные выстрелы, когда чаще, когда реже, но вяло, нехотя, без увлечения — очевидно, с обеих сторон ждали, готовились.

Скоро с другой стороны деревни Шейнова перестрелка стала усиливаться — у того отряда, должно быть, снова завязывалось дело; у нас все еще было мирно.

Немало посмеялись мы с Х. над нашим страхом быть отрезанными от отряда, а пожалуй и захваченными в плен. Нас было только три-четыре человека и мы были очень далеко впереди своих. Когда туман еще не поднялся, мы заметили 10 или 12 черных предметов, выделившихся из линии турецкой кавалерии и приблизившихся к нам: вот они остановились, по-видимому, осмотрелись и затем дружно, шеренгой направились далее наперерез нашему сообщению с отрядом; мы уже приготовились отступить, чтобы не дать себя отрезать, когда туман рассеялся и оказалось, что предполагаемые враги — казавшиеся во мгле внушительными, большущими — были здоровенные собаки, рыскавшие за остатками солдатских ужинов. Хорошо, что я не приписал Скобелеву в записке: «партия черкесов отделилась от цепи и направилась...» и прочее, вот бы засмеял он нас после; а смеялся он звонко, громко, с каким-то прихрипом: кхе-кхе-кхе-кхе!

В том отряде перестрелка очень усилилась, — очевидно, опять разгоралась сильная битва. Я только что написал и послал генералу предложение сделать поиск к стороне Шейнова, для отвлечения сил неприятеля, как показался вдали генеральский значок, а вскоре прискакал казак от Скобелева: он приказал нам отойти — и начал бой.

Из больших орудий так-таки и не притащили ни одного. Говорят, болгарское ополчение, перетаскивавшее их, выбилось из сил, но ничего не могло поделать. Я продолжаю думать, однако, что оно боялось, за этой неблагодарной для него работой, опоздать к решительному бою, почему и не довершило начатого дела, и что у Г. ногтями ли, зубами ли, орудия были бы доставлены. Пришлось опять ограничиться горными пушчонками. Зато кавалерия спустилась вся, т. е. полк московских драгун, полк петербургских улан и два полка донцов; из пехоты — стрелковая бригада, болгарское ополчение и все полки 16-й дивизии — Углицкий, Казанский, Суздальский, Владимирский — хорошие полки, знакомые Скобелеву по Плевненским битвам. Два последние, как особенно пострадавшие под Плевной, отдыхали, стояли в резерве.

Теперь отряд был в сборе; сегодня была уверенность в силе, а следовательно, и в успехе — сегодня разговор начался иной.

* * *

Первые пошли в атаку стрелковая бригада и болгарское ополчение, на правое крыло турок. Поднялась страшная трескотня: «Ура! ура! ура! Аллах! Аллах!..»

В это время подъехал Дукмасов, подбоченясь, с улыбочкой, но с сильно подбитой, почерневшей физиономией — это он с размаха треснулся на перевале о дерево.

— Радецкий совершенно одобряет все, что я сделал, — сказал мне Скобелев, показывая только что полученную записку. — Лицо его при этом сияло искренним удовольствием. — Вот видите! — ответил я ему.

Пока шла атака правого фланга турок, кавалерия наша была отправлена в обход левого, наперерез их сообщению с Казанлыком. Тут прежде всего сказалась выгода того, что в дело были пущены все силы отряда; даже в лучшем случае, накануне, турки только отступили бы, так как не было кавалерии, чтобы отрезать им путь. Сегодня же им предстояло или разбить, отогнать нас, или сдаться, потому что идти назад было нельзя; там были наши драгуны, уланы и казаки.

Тем временем масса раненых тянулась от нашего левого крыла, пошедшего в атаку; число их делалось все больше и больше: вот уже отходят целыми кучками... Что это? Смотрю и глазам своим не верю: вон десятки, сотни, сначала пятятся, потом поворачиваются... отступают... Весь отряд отступает — нет сомнения, наши отбиты!

— Михаил Дмитриевич! — говорю, — ведь наши отбиты начисто!

Не отводя глаз от бинокля, Скобелев так и впился в место битвы.

— Это бывает, — ответил он как-то странно шутливо.

Он вызвал немедленно Панютина с Углицким полком. «С Богом, проходите вперед, я дам знать, когда начинать».

— Слушаюсь-с, — ответил тот, молча снял шапку, перекрестился; молча снял шапки и перекрестился следом за командиром весь полк.

Как я заметил уже раньше, у Панютина давно чесались руки, поэтому опять он не заставил два раза повторять приказание — так и зашагал.

— Жидов сюда, — скомандовал Скобелев — это значило: «музыку сюда», так как большинство музыкантов обыкновенно из евреев.

Под музыку, равняясь как на ученье, с развернутыми знаменами, прошли вперед углицкие батальоны, весело отвечая на приветствие генерала.

— Если отобьют Панютина, я сам поведу войска, — сказал Скобелев, снова занявшийся биноклем.

Мне приходилось быть во многих сражениях, но, признаюсь, никогда еще не доводилось видеть

такой стройной, правильной атаки: «Долина Роз» приняла вид «Царицына луга» в день смотра: наступавшие шли под звуки маршей, в резервных полках играли «Боже, Царя Храни» и «Коль славен». Только один батальон из резервов, шедших занять место атакующих, нес знамя в чехле, — я подъехал и приказал «развернуть знамя».

— По чьему приказанию? — спросил адъютант.

— Генерала Скобелева.

Михаил Дмитриевич уверял потом, что он был умница в этот день, держался вне огня, но, очевидно, это надобно было понимать относительно: нас просто обсыпало гранатами. Турки стреляли сначала по резервам, но потом заметили нашу группу и с полдюжины гранат ударило так близко от Скобелева, что он потерял терпение и сердито закричал на столпившихся около него казаков с лошадьми:

— Да разойдитесь вы, черт бы вас побрал, перебьют вас всех, дураков!

Неутомимый граф Келлер, уехавший куда-то распорядиться, долго не возвращался, и мне пришлось написать несколько приказаний Скобелева — чистое наказание. Помню, что он велел переменить заключительную фразу записки, посланной начальнику кавалерии, генералу Дохтурову, написанную в смысле совета действовать решительнее. Побудило меня написать эту фразу то, что на наших глазах одна из кавалерийских колонн, от удара в середину ее гранаты, шарахнулась в сторону и затем приуменьшила шаг.

— Это старый генерал, — сказал мне Скобелев, — я не могу так писать ему.

Еще помню, что в записке к генералу Мирскому я забыл выставить число и часть, за что хозяин рассердился на меня. Кстати подъехал граф Келлер.

— Что это вас никогда нет, — обрушился на него С., — пишите скорее...

Я рад был, что дешево отделался, и принялся рисовать — это было мне сподручнее.

Панютин был уже впереди, но еще не начинал решительной атаки, и Скобелев послал ординарца П. с приказанием «начать штурм».

Стоя в это время близко, я прибавил: «Да скажите, чтобы резервы держал недалеко!» Генерал опять осерчал:

— Да, Василий Васильевич, ведь не учить же людей, когда они идут в огонь!

«А почему бы и нет — думалось мне — учить, не учить, а посоветовать...»

Много позже, год спустя, когда я ездил снова в Болгарию, встретился мне в Шейново стрелковый офицер капитан Кашталинский, имевший репутацию очень храброго и распорядительного. Я спросил его, почему они были отбиты. — он отвечал буквально: «Потому, что резервы были далеко: солдаты пошли очень хорошо, но, встретивши сильный отпор, оглянулись, видят, поддержка далеко — и пошатнулись».

Панютин пошел храбро: сохраняя порядок, подошел он к турецким траншеям на близкое расстояние, не стреляя, только по временам приказывая своим людям ложиться.

— Смотрите на Панютина! Михаил Дмитриевич, — говорю Скобелеву, — как славно он идет, он совсем молодцом!

— Я вам скажу, — ответил Скобелев, отнявши на минуту бинокль от глаз и поворачиваясь, — Панютин — это бурная душа!

Так и вижу милого Скобелева в сюртуке и пальто нараспашку, как он, широко расставивши ноги, сабля, отброшенная наотмах, следит в бинокль за ходом битвы. По временам, не переменив позы, отдает приказания или, когда делается очень жарко, т. е. по нем начинают крепко стрелять, снова

посылает «к черту» жмущихся в кучку казаков с лошадьми; значок его крепко привлекает выстрелы — и значок послан «к черту».

* * *

Перед нами синей полосой рисовалась дубовая роща, в которой расположена деревня Шейново; оттуда поминутно показывались отдельные дымки орудийных выстрелов и стлался сплошной дым ружейных. Налево тяжелые белесоватые тучи застилали верхнюю половину всех гор, в том числе и Шипки; с той стороны тоже слышался теперь гул орудий и трескотня ружей: очевидно, Радецкий решился-таки атаковать с фронта.

Я сделал набросок поля битвы, наметил места турецких орудий, место штаба Скобелева и прочее. Пока я писал, помню, осколок гранаты, уже потерявший отчасти силу, но еще способный перебить ногу, катился по направлению к моему стулу: я смотрел на него и загадывал, докатится или не докатится? Докатился и остановился у самых ног, — любезно! Осколок этот хранится у меня.

В поддержку угличанам Скобелев послал казанцев, которые должны были ударить левее Панютин в центр турок.

— С Богом, братцы, да пленных не брать!

— Рады стараться, ваше превосходительство. «Пленных не брать» в переводе на обыкновенный язык значит: «колоть всех без пощады».

Я напомнил Скобелеву эту фразу на другой день.

— Зачем вы это сказали?

— Да будто я это сказал? — спросил он с удивлением. Очевидно, фраза эта просто сорвалась у него с языка, но туркам от нее не поздоровилось.

Угличане, а за ними казанцы совершенно выбили неприятеля из траншей и редутов — казанцы довершили работу первых. Панютин, взявши в руки знамя, сам вел солдат и, конечно, он своей отвагой в значительной мере решил участь сражения.

Замечательно, что тот же самый полк, здесь ни на минуту не замаявшийся, шедший вперед, ложившийся, снова шедший вперед, снова ложившийся, как на ученьях, — под Плевной, предводительствуемый Н. Н., как засел в виноградниках, так и не вышел из них — до такой степени храбрость солдат зависит от храбрости командира.

Было очевидно, что битва выиграна. Скобелев сделался менее нервен, смеялся, шутил. Когда подошел С., я шепнул Скобелеву, чтобы он помирился с ним, и Михаил Дмитриевич протянул руку: «Ну, помиримся, ну, не сердитесь»... Хотя старик и упирался сначала, но в конце концов «превосходительства» обнялись и поцеловались.

Дело в том, что еще во время атаки болгар С., подошедший к Скобелеву с каким-то замечанием, услышал от него вместо ответа: «Подите прочь от меня!» Я совсем поражен был такой необычайной резкостью и спросил, что это значит; за что это?

— А за то, — отвечал Скобелев, — что он не на месте: коли его часть идет в атаку, так его место там, а не здесь, около меня; я этого не люблю...

Но более всего попало за время этого сражения от скобелевского сердца приятелю моему Н. Д.: воротившись от атакующих, не успел он обратиться с чем-то к генералу, как тот освирепел:

— Василий Иванович, пожалуйста, уйдите прочь!

Н. Д. отъехал в сторону.

— Нет, совсем, совсем прочь!

Н. Д., впрочем, был и после приятелем Скобелева, не любившего терять дружбу талантливых людей.

Было уже, кажется, около двух часов, когда привели или, вернее, приволокли к Скобелеву пленного пехотного турецкого офицера, на лошади, сообщившего, что их дело окончательно проиграно, все бежит, спасается от погрома, полного, решительного.

С офицером этим хорошо обошлись и он потом несколько дней ездил в свите Скобелева, где ему понравилось; он сдан был под покровительство Х., с которым вместе ел, пил, спал и галопировал за белым генералом²³. После главнокомандующий, заметивши в свите Скобелева этого странного ординарца, сказал М.Д.:

— Смотри, он у тебя не сбежал бы?

— Нет, ваше высочество, не сбежит, — отвечал Скобелев. И точно, пленный так привязался к генералу, что его потом насилу могли отослать.

Вскоре вслед за тем во весь опор прискакал казак:

— Ваше превосходительство! Турки выкинули белый флаг!..

Генерал тотчас же сел на лошадь и поскакал в Шейново. Мы летели стремглав через множество убитых; чем ближе к деревне, тем более попадалось тел, сначала наших, а потом и турок, которые грудями наполняли траншеи и батареи; орудийная прислуга и защищавшая ее пехота, очевидно, остались при местах и были переколоты — солдаты наши буквально исполнили приказание Скобелева. Проскакавши часть Шейнова, мы поворотили налево, несясь наудачу, не зная, где турецкий главнокомандующий и его белый флаг. Н. Д., помню, зацепился за дерево и чуть не вылетел из седла: тем не менее он был, видимо, счастлив и цвел удовольствием. Очень талантливый литератор и на диво сколоченный натурой человек, он был один из самых неутомимых корреспондентов, каких только мне случалось встречать, и решительно всюду поспевал на своей маленькой юркой лошадке, имевшей, по его словам, какие-то особенные качества, — не последним из них, конечно, была выносливость, способность таскать на таких тщедушных четырех ногах такую плотную, вескую фигуру.

Нам попалась толпы пленных и, кроме того, Скобелеву донесли, что кавалерия отрезала дорогу 6000 турок, отступивших было к Казанлыку. Попались наши солдаты в таком беспорядочном виде, такими толпами, что начальству их тут же крепко досталось от генерала. Встретился и Панютин, совершенно охрипший, но, несмотря на это, шумевший еще более обыкновенного; это, впрочем, легко объяснялось возбуждением дня — от старших офицеров до солдат, все участвовавшие в деле как будто сговорились охрипнуть сегодня. Панютин потерял за штурм много народа; когда ему говорили потом об убыли из полка полутора или двухсот человек, он презрительно махал рукой, дескать, «не стоит с вами и разговаривать, у меня вышло 350!»

Масса трупов валялась кругом, так же как и всякого орудия. Долго ли, коротко ли носились мы в пространстве — то направо, то налево — в поисках за турецким главнокомандующим; наконец, выбежал навстречу Скобелеву стрелковый полковник с саблей Весселя-паши.

— Где же он сам?

— Вон под большим курганом, в маленьком бараке!

Этот большой курган был с верху до низу покрыт турецкими солдатами, побросавшими своя ружья и амуницию и апатично ожидавшими своей участи — на всех лицах было как бы написано: «Хуже того, что было, не будет». Под курганом крошечный деревянный барак, перед дверями которого стоял пожилой турецкий генерал, брютет, с сильной проседью, с суровым, нахмуренным лицом, что называется «туча-тучей» — это и был Вессель-паша, главнокомандующий шипкинской турецкой

²³ Михаил Дмитриевич Скобелев суеверно полагал, что белый цвет защитит его от пуль во время сражений, и против всякой логики отправлялся в бой на белом коне и в белом мундире. За это он был прозван белым генералом.

армией. Сзади и кругом него было множество офицеров, человек 50, я думаю, и между ними четверо пашей.

Немного не доезжая до турок, Скобелев круто остановил коня и послал им сказать, «чтобы подошли к нему». Еще более нахмуренный двинулся Вессель-паша, за ним паши и все офицеры.

Михаил Дмитриевич начал говорить очень любезно, попробовал, для позолоты, пилюли, хвалить храбрость его войск, но ни одна морщина не разгладилась на челе побежденного воина; он молчал и злобно глядел на Скобелева; так же неприветливо смотрели и все офицеры. Тогда Скобелев переменял тон разговора.

Прежде всего он обратился ко мне и тихо сказал:

— Поезжайте скорее к генералу Томиловскому, скажите, чтобы он нимало не медля отвел пленных от ружей. Я имею сведение, что Сулейман-паша идет сюда из Филиппополя, и боюсь, что при первом известии об этом турки снова схватятся за оружие! Чтобы он сделал это быстро и толково, слышите!

Я поскакал, передал приказ с пояснением и на возвратном пути въехал на большой курган, снял себе на память развевавшийся на нем белый флаг; это был большой кусок белой полушерстяной, полупелюшковой материи с полосами, как раз пригодный для украшения моей мастерской — но увы! не будучи в состоянии таскать его с собой, покамест, с дозволения Харанова, я передал эту «находку» его денщику, а тот, конечно, с дозволения же своего барина, потерял его.

Турки с великой боязнью следили за тем, как я снимал флаг, представлявший наглядный конец их теперешних бедствий, и думали, может быть, что за сим последует избиение их.

Скобелев резко обратился к Бесселю, все еще имевшему сердитую гримасу на лице.

— Сдается ли Шипка?

— Этого я не знаю!

— Как не знаете? Да ведь вы главнокомандующий!

— Да! Я главнокомандующий, но не знаю, послушают ли они меня.

— А если так, то я сейчас же атакую Шипку — и, чтобы подтвердить, угрозу делом, он приказал двинуть по направлению к перевалу резервную бригаду, Суздальский и Владимирский полки.

Сказать правду, угроза атаковать Шипку, эти страшные снежные громады, высившиеся над нами, да еще одной бригадой, была просто смешна, и турки должны были быть очень удручены, коли приняли ее всерьез; тем не менее, между турецкими офицерами произошло движение, они перебросились несколькими фразами, и Бессель заговорил уже помягче:

— Пойдите, пойдите, я пошлю туда моего начальника штаба.

Этот начальник штаба, полковник, вместе с нашим генералом Столетовым, говорившим по-турецки, отправились на перевал. Впрочем, еще ранее храбрый Харанов вызвался слетать туда и сообщить Радецкому о результате битвы.

В ожидании ответа бригада все-таки двинулась к горам, под музыку, церемониально, на больших дистанциях, чтобы войска казалось больше! Мы, а за нами и турецкие офицеры, с Бесселем во главе, тронулись туда же. По дороге я сказал Скобелеву:

— Помните, вы сомневались, не дурно ли вы делаете, собирая все силы для удара, — смотрите, какой результат, какой разгром!.. — Он молча слушал с довольным видом. — А все-таки вы еще горячились...

— Будто я горячился.

— Положительно, хотя и меньше, чем прежде... — Опять он смотрел довольно, спокойно, нервность уменьшилась.

Генерал опять поразослал своих ординарцев, а некоторые и сами куда-то улетучились, так что мне опять пришлось развозить его приказания. Когда мы двигались к горам за Скобелевым, были только Н. Д., казак со значком и я, что, вероятно, немало смущало пашей, видевших русского героя, перед которым они положили оружие, в таком мизере, почти без свиты. Они, кажется, сомневались, уж, настоящий ли это Скобелев, по крайней мере, один из пашей допрашивал меня о чинах и отличиях нашего генерала, причем, по-видимому, его смутило то, что победитель их только генерал-лейтенант, а не полный генерал. Я не мог не улыбнуться тому, что когда я передал их начальнику штаба какое-то приказание по-французски, он, оглядевши мой полувоенный, полустатский наряд, спросил:

— Позвольте узнать, вы кто такой?

— Я — секретарь генерала!

На мне была короткая румынская шуба на длинном белом бараньем меху, большая казачья папаха и пашка через плечо. Только офицерский Георгиевский крест сглаживал немного излишнюю живописность этого костюма.

Скобелев серьезно побаивался, как бы шипкинский турецкий генерал не заупрямился, особенно ввиду настойчивых слухов, сообщаемых со всех сторон болгарами, о движении сюда Сулеймана-паши, — слухов, вероятно, дошедших и до турок и оказавшихся верными лишь наполовину: Сулейман, действительно, двигался со стороны Филиппополя, но не победоносно, а отступая, разбитый генералом Гурко.

Очевидно, ответа с Шипки нельзя было ждать скоро, и мы поместились на перерезе дороги туда.

Скобелев объехал ряды и везде говорил с солдатами, больше приятельски, чем начальнически:

— Вот, видите, братцы, я всегда говорил вам, слушайте своих начальников; сегодня вы исправно исполнили приказание и сделали дело, как следует, — то же самое будет впереди...

Шипка сдалась, в конце концов, без протеста, но известие об этом получено было поздно, мы не дождалась его и уехали за Скобелевыми домой. Дорогой наткнулись на смешную сцену: милейший Д., так исправно исполнивший трудное дело поездки через Балканы и обратно, не утерпел, чтобы не проявить свою казацкую сноровку также и здесь: куда-то запропастившийся, он вдруг оказался на дороге и не один, а тянул за узды двух больших, красивых, серой шерсти, коней, взятых из турецкого артиллерийского парка. Увидя Скобелева, он очень сконфузился, стал дергать лошадей изо всей силы, а те, испуганные нашим приближением, как нарочно, уперлись и загородили дорогу — картина! Скобелев отвернулся и объехал злополучную группу; мы посмеялись от души.

Из отряда Мирского приехал С. и стал горячо уговаривать Скобелева съездить к князю, как к более старшему годами. После некоторого колебания М. Д. согласился и мы поскакали на ту сторону деревни Шейново, где среди поля сидел перед столом, скрестив на груди руки, генерал М. Когда Скобелев подскакал и, сойдя с лошади подошел к столу, генералы обнялись.

Михаил Дмитриевич занял маленький деревянный барак Весселя-паши. Я уехал ночевать в Иметли, так как он просил навестить от его имени раненого генерала Z., командира 1-й бригады 16-й дивизии, перешедшей теперь временно в команду Панютину. Ранен был также в руку граф Толстой, помощник Столетова по командованию болгарским ополчением. Вяземский, кажется, остался цел. Вообще говоря, потери наши были значительные. У болгар, дравшихся отчаянно, много вышло из строя: Панютин, как уже сказано, потерял свыше 300 человек. Стрелки потеряли еще больше — и их brave начальник Меллер-Закомельский не мог нахвалиться ими.

По поводу стрелков я скажу здесь несколько слов: они образуют отдельные батальоны, идущие впереди других пехотных частей, при начале дела, а затем обыкновенно и при самой атаке; вследствие этого и потери их бывают значительнее, чем в других частях. В гвардейском отряде эти сравнительно большие потери стрелков вызвали неудовольствие высших начальников, и решено было оберегать

стрелков. Каким образом? — вести их впереди при начале дела, но пускать в атаку лишь в случае нужды, по возможности после других частей, что я нахожу непрактичным: момент атаки не всегда может быть с точностью определен вперед, часто начальник выбирает удобную минуту, зависящую как от состояния неприятеля, так и от настроения своих солдат; воротить передовую часть, когда она только что пошла в задор, разошлась, когда у нее раззудились руки, кажется мне невыгодным для дела. Говорить, стрелки дороги, их надобно беречь, потому что обучение их труднее, чем других частей пехоты — правда, но зато и обескураживать солдат в решительную минуту — опасно! Лучше всего, конечно, вовсе не воевать, но уж если драться, так ничего не жалеть.

* * *

По дороге в Иметли я побродил еще по полю битвы. Удивительно было, что траншейные рвы оказались заваленными убитыми: я объяснял себе это тем, что укрепления были не готовы; турки только еще работали над ними, когда наши пошли в атаку, поэтому, не рассчитывая на защиту таких ничтожных работ, они встретили наших не за укреплениями, а впереди их.

В одном месте, смотрю, возятся солдатики около огромного турка: он еще не умер, о чем дает знать тяжелыми вздохами и мычанием, но воины наши не обращают на это ни малейшего внимания, выворачивают ему все карманы, подпарывают куртку и все складки; поднимают его, снова бросают наземь и ворочают, как куль с мукой; бедняга не то стонет, не то рычит! А какой здоровенный детина этот турок, кабы ему да силы — как бы он сумел расправиться с искателями сокровищ!

Батареи правого неприятельского фланга буквально наполнены мертвыми телами: лошадь моя шарахнулась, отказалась войти в середину этого мертвого круга; внутри одни турки — их тут просто кололи; вне — попеременно наши и турки, — здесь еще дрались.

Один труп невольно привлекал внимание: молодой человек, что называется зеленый юноша, из вольноопределяющихся, лежал поотдаль от других, навзничь, руки и ноги широко раскинуты, глаза широко открыты и смотрят на небо — видно, убит наповал. Сапоги, как самая нужная в походе вещь, сняты, карманы выворочены и письма в огромном количестве разбросаны вокруг — искали, очевидно, не корреспонденцию его. Впрочем, золотой крестик и образок, на золотой же цепочке, были не тронуты — доказательство того, что ограбившие труп были не турки.

Я подобрал все эти письма, заглянул в них и узнал, что это юноша из дворянской семьи с юга России, собиравшийся было служить в акцизном ведомстве, но, по объявлении войны, возгоревший желанием послужить родине на поле брани. Вся нежность матери сказалась в этих письмах: она благословляла его несчетное число раз, умоляла беречь себя, извещала о посылке ему с оказией любимого им варенья и прочего. Пробегая эти письма, я стоял около молодого человека и, по временам, взглядывал на него; можно было подумать, что он прислушивается к моему чтению вестей с родины, так пытливо смотрели вверх его широко раскрытые, хотя и помутившиеся глаза, такое удивление, вместе с глубоко затаенной печалью, сказывалось на его хорошеньком личике нежного цвета, с едва пробивающимися усиками. Я отослал эти письма матери убитого и сколько же благословений получил от нее — слезы набегают при одном воспоминании.

* * *

До поздних сумерек бродил я по полю битвы, присматриваясь к физиономиям и позам убитых. Особенно поразительны из них фигуры убитых наповал: некоторые еще держат ружья, а руки, по большей части у всех так и остаются застывшими в том положении, как застала смерть, причем глаза открыты, зубы стиснуты.

Фигура какого-то пехотного солдата несколько раз мелькала мимо меня; я думал, он тоже ищет денег на убитых или подыскивает себе подходящие сапоги, — нет, он подходит только к офицерам, наклоняется, заглядывает в лицо и спокойно, не торопясь, идет к другому. Я стал следить за ним:

вижу, наклонился... да так и приник к труп; нежно, отечески поцеловал его, потом начал оправлять одежду, очищать ее от снега, голову положил попряме, сдвинул веки насколько мог, сложил закостеневшие руки на груди, еще раз бережно опашнувши платье и земным поклоном попрощавшись с телом отошел. Это денщик, не отыскавши барина между здоровыми и ранеными, пришел разыскивать между мертвыми — опять слезы душат при воспоминании — спасибо тебе, добрый, верный, драбант, спасибо за этого незнакомого мне, но верно хорошего барина твоего.

* * *

Приехавши в Иметли, я навестил прежде всего раненого Z., командира бригады, и передал ему любезное приветствие его начальника, а также осведомился о состоянии раны его — она оказалась не тяжелая и была полная надежда на излечение.

В избе наших молодых людей я просто ахнул от удивления: добрая часть ее, от пола до потолка, была наполнена лошадиной упряжью, раздобытой запасливым Д., вместе с тройкой отличных лошадей, стоявших около хаты; после победы парень опять куда-то пропал, но времени, очевидно, не потерял.

— Куда вы это все денете? — спрашиваю.

— На Дон отошлю, — отвечал казачок, видимо, удивленный моим наивным вопросом.

Грешным делом, и я раздобыл маленькую, турецкую лошаденку, но я выменял ее у турка, давши ему 10 рублей придачи, на бывшего у меня овра, загнанного еще покойным братом моим Сергеем. Добытый серенький, маленький чертенок, постоянно носившийся марш-маршем, сменил моего рыжего иноходца, совершенно замученного за эти дни. Однако от этих невинных соображений и мен с придачей было далеко до тотальной донской смекалки, очевидно, руководившейся и оправдывавшейся одиннадцатою заповедью: «Не зевай!»

* * *

Когда я воротился на другой день в Шейново, мне сказали, что Скобелев давно уже спрашивал, хотел видеть меня. Я нашел его сядящимся на лошадь, для осмотра войск. Мы поехали потихоньку, шажком, и он начал с того, что сказал:

— Дайте мне, Василий Васильевич, слово, что вы исполните то, о чем я вас попрошу.

— Извольте.

— Х. начинает интриговать... Съездите в главную квартиру, расскажите его высочеству, как дело было; он знает, что вы не скажете неправды, что вы ничего не ищете, и поверит вам более, чем кому-либо другому.

— Признаюсь, М. Д., такое поручение крайне мне неприятно; я всегда осторожно держался в главной квартире, и хотя великий князь всегда был добр ко мне, но ведь он может просто сказать мне, что это не мое дело...

— Нет, не скажет, поезжайте, сделайте это для меня, вы обещали!

— Хорошо, поеду!

Однако, с официальным донесением я посоветовал послать офицера главной квартиры Чайковского, бывшего все эти дни при отряде Скобелева, которого я знал за хорошего малого, неспособного сочинять небывлицы.

Тем временем мы выехали из дубовой роши, закрывавшей деревню. Войска стояли левым флангом к горе св. Николая, фронтом к Шейново.

Скобелев вдруг дал шпоры лошади и понесся так, что мы едва могли поспевать за ним. Высоко поднявши над головой фуражку, он закричал солдатам своим звонким голосом:

— Именем отечества, именем государя, спасибо, братцы!

Слезы были у него на глазах.

Трудно передать словами восторга солдат: все шапки полетели вверх, и опять, и опять, все выше и выше — «Ура! Ура! Ура! Ура!» Без конца. Я написал потом эту картину.

Увидев после Весселя-пащу, я предложил ему отправить через меня из главной квартиры телеграмму в Константинополь, на что он согласился и приказал об этом своему начальнику штаба; тот написал мне на клочке бумаги по-французски: «После многих кровопролитных усилий спасти армию, я и наши такие-то (следуют имена четырех пашей), сдались с армией в плен. Вессель».

Также старшие офицеры наши просили отправить депеши своим родным, товарищам: Столетов, граф Толстой, Панютин и др. К телеграмме последнего, извещавшего семью и бывших офицеров его полка о том, что «Бог сподобил его поколотить турок», я прибавил еще свою телеграмму с уведомлением о том, что «полковник Панютин за свою блистательную атаку может быть назван героем дня Шейновского боя». П. бросился целовать меня, когда узнал об этом.

* * *

Сейчас же я и поехал с моим экстренным поручением через горы в Сельви, где должна была теперь находиться главная квартира. Вместе со мной собрался ехать и Н. Д., желавший побывать на Шипке, чтобы дать отчет в газете о тамошних делах и деятелях.

Редко случалось мне смеяться так, как я смеялся тут при выезде, благодаря приятелю, который был уже не на куцей, крохотной лошаденке своей, получившей роздых — и не напрасно, а на высоком, худошавом росинанте, одолженном ему Дукмасовым, запасшимся теперь новенькими, свеженькими лошадами и, очевидно, бывшим не прочь сбыть «по случаю» старый, залежавшийся товар.

— Где вы достали этого одра? — спрашиваю.

— Хочу попробовать; Д. продает ее, это настоящий донец, кровный донец, — прибавил он, садясь в седло.

С первых же шагов, однако, в кровном донце оказались качества, недостойные его репутации: он зашагал невозможно медленно и лишь только Н. Д. вздумал заставить его прибавить шаг, начал брыкаться, что дальше, то больше; тот ударил плеткой, этот брыкнул; тот опять — и этот опять; Н. Д. стал бить не переставая; донец стал брыкаться не переставая.

Я хохочу до слез, а Н. Д. сердится и не только бьет своего коня, но еще приговаривает:

— Постой, подлец, я тебя проучу, я тебя убью. Экая свинья этот Д., еще продать хотел мне эту дрянь. Я тебя куплю, постой!.. Прежде пойдешь у меня, погоди!

Его обыкновенно доброе, довольное лицо, совсем исказилось от гнева; а лошадь под ударами плетки, без перерыва хлопавший по ее худошавым бокам, начала просто кружиться — кружится, опустивши голову, вскидывает хвост и брыкается!.. Я думал, заболею от смеха.

В деревне Шипке мы нашли все разрушенным: кроме церкви, не уцелело ни одного дома.

Мы стали подниматься на гору по шоссе. Турецкие солдаты копались везде по землянкам, укладывали свое жалкое добро в мешки и готовились шагать по горькому пути плена.

У самой верхней траншеи, сильно укрепленной, против нашего последнего пункта, скалы, я был поражен страшной массой русских мертвых, валявшихся тут чуть не один на другом.

Замечательно много убитых было наповал, это видно было по странности поз, кто с руками, поднятыми для стрельбы, кто лягушкой, на карачках и т. п. Около самого турецкого бруствера тел вовсе не было — доказательство, что на штурм самых турецких укреплений наши не ходили, а лишь дошли до широкой канавы, прорытой в некотором расстоянии от траншеи, да там и засели; по месту

нахождения и расположению тел в этом нельзя было ошибиться.

Я отправил отсюда свою лошадь кружным путем, по шоссе, а сам начал подниматься к скале напрямик, по тем самым местам, по которым Сулейман-паша вел свою бешеную атаку на Шипку. Скоро стали попадаться тела турок, оставшиеся еще от этих штурмов, в платьях, с кожей, прилипшей к костям на оконечностях, а внутри, под одеждами, представлявшие нечто сильно разложившееся... Скоро пришлось ступать по этим размягченным трупам — так густо вся местность была устлана ими. Местами тела лежали в два ряда один на другом, и нога, просто, уходила в эти жидкие массы, едва прикрытия снегом, как в болото. Запах был невыносим, меня тошнило: однако так как возвращаться назад не хотелось, то и надобно было идти вперед, поминутно окунаясь руками и ногами в мертвечину.

Правду сказать, восход тут так труден, что я дивился храбрости турок, сумевших не только просто карабкаться, как то с трудом делал я, а атаковать по такой крутизне.

«Тьфу ты, черт! — думалось, — вот сейчас упалешь от этого убийственного запаха и никто даже знать не будет, что живой человек валяется между трупами»: по счастью, на скале, наверху, показался солдат.

— Братец мой! — кричу ему, — выручай!

Он спустился, дал мне руку и вытащил на скалу, где можно было вздохнуть свободнее — точно поднялся из Дантова ада.

* * *

В старознакомой мне, еще по сентябрю, землянке я нашел генерала Мольского, с которым мы распили, по случаю победы, бутылку шампанского.

Насветевича не было — он пошел принимать от турок оружие и знамена.

Вечером я пошел в землянку старого моего туркестанского знакомого генерала Петрушевского, со времени получения раны знаменитым Драгомировым, командовавшего дивизией. Землянка эта называлась «дворцом» и, действительно, состояла из нескольких отделений, в которых даже насекомых было менее, чем в других землянках — не дворцах. Я застал в ней целую компанию: самого Петрушевского, затем начальника штаба Радецкого Д., прекрасного туркестанского офицера, командира бригады Б. и помянутого уже полковника С., офицера генерального штаба, бывшего теперь при М.

Шел горячий разговор, утихший при мне, но смысл которого потом выяснился: винули Скобелева за то, что он не поддержал атаку третьего дня и, не спросив позволения, дождался, пока собрал все силы, ударил на турок и заставил их положить оружие — только вчера!

Много раз уже мне случалось видеть, как после битвы даже лучшие приятели начинают подставлять друг другу ногу. Тут дело осложнялось еще тем, что М. Д. Скобелев давно провинился перед своими приятелями, крепко обогнавши их, — естественно, что ему нечего было ждать пощады. Подвиг Скобелева уменьшал заслугу шипкинцев в этот день и крепко умалял результат спешной атаки другого отряда... Рассудительный и вообще довольно справедливый Петрушевский больше помалгивал, когда на Скобелева нападали, а я его защищал; мне казалось, что и П. симпатии были на противоположной стороне.

— Что же вы думаете, Василий Васильевич, что все дело сделал один Скобелев и что, например, наша атака ни к чему не повела? — спросил меня Дмитровский.

— Нет, я никоим образом не думаю этого. Ваша атака должна была страшно напугать турок и заставить их решиться положить орудие. Очень естественно, что, атакованный с обоих флангов, Вессель окончательно потерял голову, когда услышал, что и вы с фронта двинулись. Я искренно полагаю, что каждый сделал свое дело, но все-таки не могу не думать, что главная роль дня выпала на

долю Скобелева.

Я не имел времени захватить к генералу Радецкому, за что он после крепко пенял, и добрался до Габрова в санках Бискунского.

Только что выехавши из Габрова по направлению к Сельви, я встретил человека из главной квартиры, удостоверившего, что его высочество главнокомандующий уже едет сюда; поэтому я воротился и переночевал в Габрове у брата моего, жившего здесь для окончательного заживления своей раны. Он проживал вместе с родственником нашим Дубасовым, братом известного моряка, бравым шипкинским артиллеристом, тоже лечившимся.

Мы больше проболтали, чем проспали эту ночь, и наутро, в ожидании приезда великого князя, я пошел в помещение бывшего женского монастыря, обращенного в госпиталь, навестил Куропаткина и Ласковского, там лечившихся. Последний оказался «в лучшем виде» и была основательная надежда на его скорое и полное выздоровление. Но К. смотрел плохо: был нервен и влобавок в сильнейшем жару. Я позволил себе распорядиться без церемоний: приказал настлать везде войлока, войлоком же обтянуть дверь, которая поминутно стучала и, видимо, беспокоила больного, а турок, наполнявших двор и галдевших под самыми окнами, просто вытурил вон, за ограду госпиталя. Кроме того, отозвавши в сторону милую сестрицу милосердия, наказал ей соблюдать полную тишину и беречь К., как зеницу ока, хоть бы по той причине, что другого такого Куропаткина нет — он представляет-де некоторым образом уника.

* * *

Как только великий князь приехал, я отправился в занятый его высочеством дом. Первые, кого я встретил здесь, были Скалон и Скобелев-отец.

— Вы из отряда?

— Вы от Миши? — и сейчас же повели меня к его высочеству.

Я рассказал, что я знал и как я знал, по совести, не влагаясь в технические подробности, ни в похвалы или порицания, которые, конечно, не были бы приняты.

Чтобы видеть, какое впечатление произвел мой рассказ, я сказал: «Упрекают Скобелева за то, что он не атаковал турок днем раньше, но это было материально невозможно; отряд его еще не спустился и нападать с ничтожными силами было крайне рисковано; даже в счастливом случае большая часть неприятеля ушла бы, так как у нас не было кавалерии, чтобы перегородить неприятелю дорогу»...

— Ну, разумеется так, — ответил мне главнокомандующий.

Я сказал потом старику Скобелеву, что приехал по просьбе сына его.

— Да вы бы сказали его высочеству, сколько взято орудий, знамен, а то вы только и говорили, что атаковали стройно, да с музыкой...

— Ну, рассказывал, что знал, об орудиях и прочем узнает великий князь и без меня.

Потом из разговора со Скалоном я узнал, что есть намерение заключить мир теперь же.

— Не может быть! — заметил я. — Сейчас скажу ему это.

— Скажите! Вы можете...

Я воротился:

— Ваше высочество, я имею сказать вам несколько слов?

— Пожалуйста.

Князь Черкасский, тем временем вошедший к главнокомандующему, любезно уступив место, вышел.

Великий князь велел было подать себе лошадь, чтобы навестить раненых офицеров, но так как на дворе стояла гололедица, а до госпиталя было рукой подать, то я предложил пройти лучше пешком. Народ приветствовал его восторженно.

Необходимо сказать, что великий князь-главнокомандующий был очень популярен: его доброта, доступность, простота обращения были хорошо известны и везде, где показывалась его стройная, чрезвычайно красивая фигура, встречали и провожали его искренними приветствиями.

Я сказал его высочеству, что распорядился вывести турок из этого госпиталя, так как они слишком беспокоили наших офицеров, что он одобрил. Он долго беседовал с Куропаткиным и Ласковским, а затем обошел других раненых.

На следующий день главная квартира должна была перевалить через горы и расположиться в Казанлыке, а по дороге Е. В. должен был осмотреть войска Радецкого, Скобелева и Мирского. Я поехал назад, чтобы отдать приятелю отчет в данном им поручении, худо ли, хорошо ли — исполненном.

На Шипке была такая вьюга, что сильнее ее, кажется, трудно себе и представить — даже те, что в Сибири, бывало, заставляли кружить целую ночь около станции, не были так ужасны. Петрушевский крепко настаивал на том, чтобы я остался у них переночевать, но я не послушался, напился чаю и поехал дальше. «Василий Васильевич сделался дипломатом», — заметил милейший П., понявший, что я недаром ездил на встречу главной квартиры. Однако, признаюсь, потом я раскаялся: смежная буря была до того сильна, что не только верхом, но и пешком двигаться было невозможно. Ветер дул с такой силой и по дороге стояла такая гололедица, что и меня с казакom и наших лошадей все время сбивало с ног.

Уж и вспомнил же я «дворец-землянку» П. и кипящий самовар и борщ, и котлеты, и горячее красное вино, и шампанское, которое там выпивалось дюжинами... Тьфу, тьфу! Хуже всего было то, что при одном из своих пируэтов казак разбил мой ящичек с красками, так-таки вдребезги — где-то его починить в этой общей суматохе.

Даже вошки, которыми кишели землянка и самый «дворец» П., казались из-за вьюги не такими страшными, хотя они залезали «под пуговицы»!

Скользя, падая, снова скользя, даже теряя дорогу, пропускались мы целую ночь и только ранним утром добрались до Шейнова.

Скобелева я нашел занятым приготовлениями к встрече главнокомандующего. Расспросивши меня подробно о разговоре моем с его высочеством, он в свою очередь рассказал о беседе своей с Радецким.

— Ну, охота вам заниматься такими глупостями, — заметил ему добрейший Федор Федорович, и тем дело кончилось...

Несколько раз мы отходили в сторону, Скобелев переспрашивал о том, насколько внимательно выслушан был мой рассказ, что именно ответил великий князь и прочее; видно было, что высокоталантливый и беззаветно храбрый человек весь погружен был в заботы обо всех этих подробностях и их возможных последствиях.

...Я видел приготовление Михаила Дмитриевича к приему великого князя, боязь его упустить что-нибудь регламентарное при этой встрече. Он понятия не имел о тонкостях разводов и парадных учений и, боясь, что главнокомандующий захочет пропустить мимо себя войска церемониальным маршем, старался подучиться, куда надобно встать, как командовать и т.п.

Единственный источник его мудрости по этой части был ординарец Хомичевский, который и столом у генерала заведовал, и приказания его развозил, и парадными тонкостям своего патрона учил.

— Да говорите же скорее, Х., где должны стать саперы?

— Непременно впереди, ваше превосходительство.

— Ну, как же я должен командовать?

— Ваше превосходительство должны выехать и скомандовать и т. д.

Глядя на то, с какой серьезной, сосредоточенной физиономией он расспрашивал и выслушивал, как задалбливал то, что ему «надо скомандовать», я расхохотался.

— Что вы, Василий Васильевича смеетесь, однако? — спросил Скобелев, как обиженный ребенок.

— Да как же не смеяться: генерал, перед которым турецкая армия положила оружие, как школьник, заучивает разные слова, приемы, уловки...

* * *

Вот высоко, на Шипкинском перевале, показались несколько точек, а за ними целая линия, спускавшаяся к нам — то был главнокомандующий со свитой.

Смушение Скобелева делалось все более и более заметным; он как-то съезжился, принял беспокойный, несчастный вид. Я всегда замечал у него жалостную физиономию, когда ему приходилось встречать высокопоставленных лиц; очевидно, ему было очень тяжело в это время, он мучился о том, что ему скажут, как его примут. Вот великий князь спустился уже к подножию горы, где дожидался его генерал Радецкий. Еще издали Е. В., махая фуражкой, закричал:

— Федору Федоровичу, ура!!!

Подъехавши, он обнял, поцеловал Радецкого, поздравил его генералом от инфантерии и повесил ему на шею большой крест Георгия 2-го класса. Я сидел верхом, по дороге и приветствовал великого князя, который еще не доезжая весело крикнул:

— Василь Василич, здравствуйте!

Затем главнокомандующий подъехал к Скобелеву, дожидавшемуся перед самым фронтом войск, и едва кивнул ему головой — Михаил Дмитриевич поцеловал его высочество в плечо и как-то замер от холодного приема — очевидно С., дождавшийся великого князя на перевале, успел сделать свой «доклад».

Великий князь объехал ряды и вскоре уехал в Казанлык. Провожая, Скобелев несколько времени поговорил с его высочеством и сделался спокойнее.

НАБЕГ НА АДРИАНОПОЛЬ

1878

I

Когда в Габрове я говорил великому князю о необходимости движения на Адрианополь, он, между причинами невозможности этого, приводил ту, что «интендантство ничего нам не заготовило, сухарей нет». Из ума у меня вышло сказать тогда, что М. Д. Скобелев захватил 12 тысяч пудов отличных турецких сухарей, белых, прекрасно выпеченных, не чета нашим, и что следует поскорее наложить на них руку, так как Скобелев дозволил всем частям своего отряда брать, кто сколько захочет, и их уже расхватывали возами. Теперь я вспомнил о сухарях и сказал начальнику главного штаба Непокойчицкому. Он до того обрадовался, что не хотел верить, заторопился, стал шпорить своего буцефала и разузнавать; когда это подтвердилось, немедленно же доложил главнокомандующему — и решено было движение вперед.

Вечером я обедал у Михаила Дмитриевича; был старик Скобелев и генерал Струков; последний, между прочим, спрашивал меня, не хочу ли я пойти с ним, так как великий князь посылает его на кавалерийский поиск к Германлы? Я согласился, но, к сожалению, не мог выехать вместе с ним, т. е. на другой же день утром, так как в прошлую ночь, на Шипкинском перевале, во время бури, которая

столько раз сбивала нас с ног, казак мой совсем разбил об лед мой ящичек с красками — я уже поминал об этом — и был послан теперь в Габрово чинить — надобно было подождать.

Я съездил в главную квартиру, которая расположилась в Казанлыке, и нашел ее в таком бедственном положении: хотя большая часть города была выжжена, но квартиры кое-какие нашлись, зато пищи не было никакой. Я вспомнил тогда об излишке, который был у нас в отряде Скобелева, особенно по части сладостей, и сказал коменданту генералу Штейну, что надеюсь прислать кое-что уцелевшее.

— Да может ли быть? — говорил в восторге почтенный блюстителъ благочиния и желудков главной квартиры, — Нельзя ли поскорее, я дам вам казаков из конвоя.

С двумя казаками я поехал назад в деревню и передал им целое ведро яблочного варенья, горшок вишневого и полмешка грецких орехов. За эти последние на меня дулся ординарец Скобелева Баранок, так как он был большой любитель их; зато главная квартира кушала в этот день. За обедом, как мне говорили, блинчики с вареньем произвели большой эффект.

Я побывал у доброго приятеля моего Скалона, управлявшего канцелярией главнокомандующего, и попросил, чтобы брата моего Александра, раненного 30 августа и еще не совсем поправившегося, не отсылали в полк. Великий князь очень любезно приказал оставить его временно при главной квартире как ординарца. Пока я был у Скалона, он занят был отправкой курьера к государю с донесением о последних военных действиях, пленении турецкой армии и прочем. Скобелеву очень хотелось и он предлагал послать своего бравого начальника штаба графа Келлера, но, кажется, боялись, что этот офицер всю честь дела припишет Скобелеву, и выбрали С., офицера генерального штаба, состоявшего при отряде Мирского, и, как уже помянуто, более других восставшего против Скобелева... Я указал Скалону на то, что доклад государю выйдет слишком пристрастен, и тот, хотя сам кажется недолюбливал Скобелева, как человек справедливый, сказал, однако, С.:

— Смотрите, батюшка, помните, что каждое слово вашего доклада будет известно великому князю и за вами пойдет другой курьер, который может сказать государю противоположное вашему, если вы увлечетесь²⁴.

С. горячо протестовал против подозрения в пристрастии к своему отряду и своему начальнику, но я уверен, он так именно и поступил, т. е. представил все дело шиворот-навыворот; доказательством, этому служит то, что Скобелев получил за эту блистательную победу ничтожную сравнительно награду, долго спустя, наряду со многими другими офицерами, и, по страстности, нервности своей натуры, очень огорчился этим.

* * *

По известию о том, что Сулейман-паша, разбитый генералом Гурко, отступает к Адрианополю, Скобелеву приказано было идти наперерез дороги ему форсированным маршем. Отряд его проходил в Казанлыке мимо великого князя церемониально, гигантскими шагами... Я велел вычным животным тоже следовать за солдатами; из-за этого задние ряды растянулись, и М. Д. с сердцем выговорил мне — ему таки хотелось пройти мимо всей главной квартиры постройнее.

Слышу, великий князь спрашивает Скобелева:

— А Верещагин идет с тобой?

— Надеюсь, Ваше высочество, — отвечал тот.

Вскоре я откланялся главнокомандующему и на его «до свидания» прибавил: «в Адрианополе», — так оно потом и вышло.

²⁴В противность уверения генерала С., утверждаю, что буквально эти слова были сказаны ему — *Примеч. авт.*

Мы шли очень торопливо, но на перевале через Малые Балканы — с великим трудом, так как дорога в ущелье очень узка и малейшая остановка одной какой-нибудь повозки задерживала всю часть отряда, следовавшую сзади. Кажется, впрочем, перевал сошел благополучно, никто и ничто не свалилось в кручу.

К вечеру пришли в Эски-Загру, стоящую на выходе из ущелья и так разгромленную турками после отступления отряда Гурко, что едва осталось от целого города несколько жилых домов. Было уже почти темно, когда я въехал в улицы, обозначенные двумя рядами самых печальных развалин. Где примоститься, пристроиться на ночь я не знал, где пообедать — еще того менее. Заглянул было на двор к Скобелеву, но увидел через освещенное окно, что он, как тигр, ходит по комнатке из угла в угол, вероятно, бесится на что-нибудь, да к тому же у него полковник А., всезнающий, самодовольный офицер. На счастье встретил генерала N., очень милого человека... В настоящую минуту важно было лишь то, что у него была лавка для спанья, туземное вино и кое-какой ужин. Вдобавок и смеялся же я в этот вечер.

Бригада N. должна была выступить в этот вечер немедленно за кавалерией, но офицеры как-то прозевали минуту и оказалось, что кавалерия прошла, а пехота, не выйдя сейчас же за нею, потеряла ее — так-таки просто и потеряла, потому что настала страшная темнота. Было несколько дорог и по всем прошло в продолжение дня немало лошадей, так что нелегко было добиться толку. Бедный N. страшно перепугался, когда доложили ему, что давно пора выступить, но не могут найти дорогу, по которой прошла кавалерия. Не дожидаясь куска, он оделся, опоясал саблю и бросился на поиски, в страшную, непроглядную темноту. Сказать об этом Скобелеву, спросить его — и думать было нечего: за такой недосмотр он сейчас же отнял бы бригаду. Через полчаса N. возвратился, торжественно, молчаливо разоружился и сел доедать баранину.

— Ну что, нашли?

— Нашел!

— Как же вы нашли?

Он посмотрел на меня снисходительно и, показавши указательным перстом на свой лоб, сказал:

— Все возможно, если пользоваться тем, что называют головой.

Я, конечно, не спорил. N. очень охотно и очень скверно говорил по-французски и приведенная фраза, была далеко не из худших изречений его на этом языке — охота пуще неволи.

N. считался в отряде не из храбрецов, что, кажется, было верно. Под Плевной он командовал У-м полком, который на штурме как засел в виноградниках, так и не вышел оттуда, конечно, благодаря недостаточной храбрости командира, потому что тот же самый У-кий полк, под Шейновым геройски шел в атаку под предводительством бравого Панютина. Наглотавшись разных страхов во время этого штурма, N. сказался больным и выздоровел только тогда, когда Плевна пала. Скобелев не щадил трусов вообще и, конечно, сменил бы N., если бы тот искренне или притворно не льстил своему начальнику в глаза и за глаза, не называл его всегда и везде бесстрашнейшим из людей, небывалым героем и прочее, так что Михаил Дмитриевич не имел силы долго и сильно на него сердиться.

— Что за трус, этот N., как он мне надоел, — говорил он иногда, но все-таки терпел его и даже представлял к наградам, а тому только того и нужно было.

Рано утром на другой день, выходя с N. из дому, я встретил генерала Дохтурова, начальника кавалерии отряда, с которым тут только познакомился. Он показал мне известие из передового отряда от приятеля моего Струкова, доносившего, что захвачен мост через Марицу и несколько орудий, его защищавших, а табор турок, при этом бывший, прогнан. Генерал был недоволен тем, что донесение было от С., офицера, посланного главнокомандующим, а не от командира полка драгун, действовавшего впереди.

— Посмотрите, пожалуйста, на этого С., — жаловался он мне с первого же знакомства, — куда только он не примажется, ведь вот победу одержал.

Мне показалось это мелочным, так как С. был правильно командирован главнокомандующим, да к тому же я знал его за исправного офицера.

Теперь днем еще лучше было видно, как страшно город Эски-Загра был разорен — если бы не дымовые трубы, там и сям торчащие, то можно было бы видеть человека с одного конца города на другом. Страшно распорядились здесь турки с болгарами, за оказанный отряду генерала Гурко сердечный прием... по-турецки.

Дорога отсюда к Германлы была вся усеяна нашими отставшими солдатами: так как гнать силой было не велено и желавшим отдохнуть не воспрещалось отставать, то многие прекомфортабельно расположились на снегу парами и вели душеспасительные разговоры. Расчет Скобелева оказался верен: все подошли к вечеру и на другой день утром и, благодаря тому, что отлтых не возбранялся, больных почти не было.

Я ехал совершенно один, казак мой отстал. Кругом было еще немало снега, из-под которого там и сям вырывали травку бараны. Так как пропитание наше было до сих пор весьма скудное и я не знал, каково оно будет впереди, то слез с лошади, привязал за седло барашка пожирнее и затем продолжал путь, поддерживая свою добычу то с той, то с другой стороны. Скоро нагнал и перегнал меня Скобелев.

— Что это у вас?

— Как видите, баран, боюсь, что нечего будет есть.

— Пустяки, бросьте, — впереди будет много всего.

Я, однако, не поверил, не бросил, хотя, действительно, впереди оказалось довольно мяса.

— Знаете, Василий Васильевич, — сказал мне Скобелев, — Сулейман-паша идет к нам навстречу.

— Откуда вы знаете это?

— Я верные известия получил, скоро пойдем в битву, не отставайте! — и, поболтавши еще, он проехал далее.

Знаю, что Скобелев часто принимает свое желание за факт, я не очень-то поверил подходу Сулеймана и ехал не торопясь, поддерживая своего барашка, который постоянно съезжал набок, до того, что стаскивал седло и не давал лошади идти. Я не терял надежды приятно удивить всю компанию моей жирной находкой, но, подъезжая к месту остановки, увидел кругом такое множество баранов, что бросил немедленно моего — после стольких потраченных трудов! Остановка была на железнодорожной станции Трново-Семенли. Сюрприз, который меня здесь ожидал, разве во сне мог пригрезиться: на вопрос о генерале, меня ввели в Salle d'attente, где большой стол, прекрасно сервированный, был занят всеми нашими, окончившими отличный обед с кофе и сигарами!

— Вы не ели? Хотите обедать? Садитесь...

— Хочу, хочу. — Я ел, как волк.

Генерал Струков очень был рад, что я догнал его, наконец, угощал, потчевал и взял слово, что отсюда далее мы пойдем вместе.

Он рассказал мне после обеда, что у него тут было. Когда он подошел с драгунами, турки зажгли мост, но солдаты потушили и заняли его, обеспечивши таким образом переправу на другую сторону Марицы²⁵. Это было очень важно для беспрепятственного движения нашей армии. Укрепление, обстреливавшее мост, не отличилось; турки просто убежали оттуда, заклепавши оба свои орудия.

²⁵ Несмотря на возражение генерала П., утверждаю, что Марицкий мост был занят кавалерией Струкова, а не пехотой П. — *Примеч. авт.*

Таким образом батальон пехоты утек перед двумя эскадронами кавалерии, да вдобавок не взорвал и не испортил громадного моста, вверенного его охране. Сожги они этот мост, мы были бы задержаны устройством переправы через реку, покрытую плавучим льдом, и Сулейман-паша имел бы время отступить к Адрианополю по железной дороге, через Германлы. Конечно, быстрому налету сначала драгун Струкова, а потом пехоты Скобелева обязана армия захватом этого важного пункта.

Как потом оказалось, Сулейман присылал телеграмму за телеграммой о заготовке вагонов для немедленной доставки его разбитой армии в Адрианополь. Его депеши достались Струкову в руки, и можно было видеть по ним, что турки, гонимые Гурко от Филиппополя, ждали нас и с этой стороны, но, конечно, не воображали, что мы предупредим их, перережем им дорогу. Да и надобно сказать, что Скобелев прошел в сутки, с пехотой, 80 верст; почти то же сделал днем ранее Струков, с московскими драгунами.

В продолжение этого дня отдыха все отсталые подтянулись и присоединились к частям; больных, как я сказал, почти не оказалось. Скобелев был в хорошем расположении духа, потребовал к мосту жидов, т. е. музыкантов. Все были сыты, потому что провизии оказалось довольно. Некоторые, как наш приятель Д., ординарец Скобелева из донских казачков, даже слишком отпраздновали занятие моста — просто-напросто так нализался, что его пришлось силой уложить спать.

Не обошлось и без недоразумений: хозяйка ресторана и станционного дома жаловалась на пропажу гусей, у меня утащили отличную кавказскую шашку мою — хорошо если на погибель неприятеля, но боюсь, что для перепродажи, за несколько рублей, какому-нибудь интендантскому чиновнику. Пришлось занять лишнюю шашку у Х., далеко не такую щегольскую, какая была у меня, памятная еще тем, что, за время моей болезни от раны, она служила моему покойному брату Сергею, убитому под Плевной, зарубившему ею нескольких турок. Комната, в которой я сложил свои вещи, с намерением в ней расположиться, была потом занята вещами генерала Д., и моя бурка с шапкой были унесены и так старательно припрятаны, что я едва отыскал первую, вторая же так и ухнула, вероятно, уж очень понравилась кому-нибудь из денщиков.

На другой день мы выступили рано с генералом Струковым: Скобелев остался позади. Скоро с возвышенности нам открылся городок Германлы, в который с вечера еще был послан, если не ошибаюсь, эскадрон, или два, драгун, принятый очень дурно башибузуками и в свою очередь распорядившийся нецеремонно с ними.

Пришло важное известие, что в Германлы приехали турецкие уполномоченные для заключения перемирия и просят дозволения на дальнейший проезд в главную квартиру. Генерал Струков дал знать об этом немедленно Скобелеву и просил поскорее двинуть вперед часть пехоты, послам же ответ несколько задержал, пока пехота не дошла до городка. И хорошо она сделала, что поспешила, потому что драгунам нашим было там довольно жарко перед огромным числом неприятеля, между которым было немало редифов из разгромленной Гурко армии Сулеймана-паши.

Когда мы приехали, битва уже затихала, неприятель отошел и нас тотчас провели к железнодорожной станции, где, закупоренные в своих вагонах и немало, вероятно, беспокоившиеся всю ночь криками и выстрелами, ожидали почтенные турецкие уполномоченные Намик и Сервер-паша (на локомотиве их поезда развевался белый флаг). Первый был старый знакомец русских, так как приезжал к нам еще при императоре Николае. Он был не только испытанный дипломат, но в то же время, как министр двора, и самый близкий к султану человек. Второй — министр иностранных дел, сравнительно молодой, видимо, нервный человек. Намик, сухощавый, очень пожилой, с острым носом, несколько потухшим взором, клинообразной бородой и полными достоинства манерами, был одет в длинную, широкую турецкую одежду, с неизбежной феской на голове. Сервер, с широким, живым лицом, несколько раскосыми глазами, в каком-то доморощенном и поношенном черном пальто-сак и резиновых галошах, часто вскакивал и, засунувши руки в карманы, либо шагал по вагону,

либо, останавливаясь, упирались в нас глазами, нервно перебирал скулами, обличая немалое волнение.

Им доложили о приезде русского генерала — приказали просить. Мы вошли в вагон-зал, где Струков представился как начальник авангардного отряда, а меня представил как своего секретаря. Мы оба были в бурках и, надобно думать, смотрели порядочно дико, несмотря, на французский язык, на котором вели беседу. Генерал Струков с большим тактом заговорил о стойкости турок, не упоминая ни словом о наших победах, и высказал совершенно верную мысль, что чем больше мы знакомимся с личным характером турок, тем более уважаем их. Намик, умница старик, перешел к последней, решительной для турецкой армии битве под Шейново, и обратился ко мне с расспросами, когда генерал Струков указал на меня, как на участника этого сражения.

— Скажите, — перебил Сервер-паша, останавливаясь перед нами с видом человека, не имеющего более сил владеть собой, — скажите мне откровенно, дружески, неужели Вессеь не мог более держаться?

— Не мог, паша, уверяю вас, — отвечал я и, вынувши мою записную книжку, начертил план деревни Шейново и позиций Весселя, а также позиций Радецкого, Скобелева и Мирского; указал, как двое последних обошли, атаковали турок и заставили положить оружие (чертеж этот до сих пор хранится в моей записной книжке). Какой-то стон вырвался у Сервера, он отвернулся, чтобы скрыть слезы.

Посланники выразили желание продолжать путь в главную квартиру.

— Поезд, с которым мы приехали, вы, надеюсь сейчас же отправите назад? — сказал Намик-паша.

— Я испрошу на этот счет приказания моего начальника, генерала Скобелева, — отвечал Струков.

— Зачем вам спрашивать разрешения, поезд подошел и стоит под парламентским флагом и не может, не должен быть захвачен для военных целей!

— Я испрошу приказания, — был ответ.

— Что же это такое? — взмолился паша, — но ведь сейчас придет еще поезд с нашими экипажами и лошадьми для его высочества главнокомандующего от его величества султана, неужели вы и его задержите?

— Я обязан испросить приказание.

Мельком, тихо я напомнил генерал Струкову, что «поезд, действительно, под белым флагом, нельзя его не отдать».

— Нам вагоны не нужны, есть, но локомотивов нет, — тихо, быстро ответил Струков, — временно я, во всяком случае, должен задержать их, а потом, что прикажут.

Это последнее он произнес громко, уверивши пашей, что, по получении распоряжения, не задержит поезда ни на минуту. Увы! От Скобелева пришел приказ ни под каким видом не отдавать поездов, которые, надо в этом сознаться, преисправно перевозили потом наши войска. Но наши уже не знали этого, так как раньше уехали в главную квартиру нашей армии, в Казанлык. Вечером я еще зашел к ним в вагон сказать, чтобы они приказали хорошенько присматривать ночью за всеми своими вещами; кругом было немало мародеров, не только из болгар, но и из башибузуков.

На следующий день мы выехали проводить их. Паши отправились в карете, к которой мы подошли попрощаться, пожелать хорошего успеха в переговорах.

— Будем надеяться, что результат вашей поездки будет скорый мир, — сказал им Струков, отвечая на их дружеские и печальные пожатия рук, — не забывайте, что у нас есть общий враг, тот, который обещаниями довел вас до теперешнего положения и бросил на произвол судьбы.

— Это верно, — отвечал Сервер, — у него опять были слезы на глазах. Паши поехали между двух рядов выстроенных войск нашего небольшого отряда, но все горло оравшего песни, с прикриками,

присвистами — бедные паши!

Скалон рассказывал мне потом, что когда пришло известие о занятии Струковым Адрианополя, то, несмотря на очень поздний час, они поспешили известить пашей.

— Часто в переговорах о перемирии, — говорил Скалой, — эти почтенные люди, с которыми все мы были в самых лучших отношениях, преважно настаивали на том, что Адрианополь еще не взят, да и не легко возьмется, потому было понятно наше желание поскорее преподнести им этот сюрприз; сейчас же разбудили их, те вскочили.

— Что, что такое?

— Имеем честь поздравить с занятием Адрианополя! — Они чуть не заплакали.

Бедные паши!

Мне оказалось немало дела. Генерал Струков был назначен начальником небольшого отряда, составлявшего авангард всего большого Скобелевского отряда. Так как это назначение было частное, самого Скобелева, то никакого офицера генерального штаба не было дано и приятель просил меня заняться то тем, то другим делом, смотря по надобности — я был волонтером, начальником штаба его. Я собирал, между прочим, слухи и сведения от туземцев, о чем докладывал потом Александру Петровичу. Для этого у нас был болгарин Христо, с огромными усами, как у кота, толстый, красивый, в расшитой, покрытой галунами, куртке, широчайших штанах, с большой богатой саблей, к несчастью, не видевшей неприятеля. Он служил прежде казаком в Константинопольском посольстве при генерале Игнатеве, потом, во время войны, был при главнокомандующем и теперь выпросился идти переводчиком при Струкове. Мы узнали, что армия Сулеймана-паша, разбитая Гурко, увидя невозможность попасть в Адрианополь прямым железнодорожным путем, бросилась в горы и отступает теперь безостановочно небольшими партиями в 5-10-20 человек, т. е. в полном расстройстве. Попади энергичный Сулейман со своими, еще, по меньшей мере, 30 тысячами, в Германлы ранее нас и успеет он пробраться в Адрианополь, уничтожив мосты Трново-Семенли, Мустафа-паша и в других, менее значительных местах — наше шествие к Константинополю не походило бы на военную прогулку, как это вышло теперь, и с этой стороны заслуга быстрого энергического налета Струкова, его образцового кавалерийского рейда, не оценена по достоинству у нас, как мне кажется. Мне самому, например, доводилось слышать от офицеров армии Гурко, что «полдела было Струкову и за ним Скобелеву идти вперед триумфаторами, когда уже серьезное сопротивление было сломлено»; но они забывали, что, во-первых, серьезное сопротивление впереди было предупреждено и, во-вторых, что Струков шел почти до самого Константинополя с тремя неполными полками кавалерии и одной батареей, и что по дороге его в одном, двух переходах почти постоянно находилась турецкая пехота. Теперь, когда дело это уже прошлое, мне просто смешно думать, что бы вышло из нашего триумфального шествия, если бы мы наткнулись хоть на два батальона турецких редифов!

Так или иначе, в ожидании Скобелева и скорого выступления мы прекрасно поместились в Германлы: дров, провизии было не занимать, и стол наш был хорош, т. е. щи или суп вкусны и горячи — чего же больше.

Я был занят, по просьбе Струкова, двумя вещами: удержанием солдат от грабежа и разоружением жителей. На беду, одному из наших драгун посчастливилось найти 500 турецких золотых; как только узнали об этом в отряде, каждому захотелось найти тоже 500 золотых. Хотя отряд стоял вне города, но солдаты под всякими предлогами шлялись по домам, искали и даже вымогали денег, выпускали пух из перин и подушек, разбили несколько погребов. Было заявлено много жалоб, о которых сообщено было в части, но некоторые начальники смотрели на такие проделки сквозь пальцы — если не потакали, то и не взыскивали строго. Тогда я пошел по улицам и принялся за дело. Входишь в дом: несколько солдат бродят из угла в угол, осматриваюсь, шарят среди терроризованных жителей.

— Зачем вы здесь?

— Квартиры смотреть посланы, ваше высокоблагородие.

Сначала я думал, что это правда, но, узнавши, что все вздор, предлог для выглядывания денег или ценностей, стал без церемонии выгонять вон, самыми энергичными средствами, взашей.

Что найдут и унесут или выпьют вино — это еще понятно, но, например, вижу, у дверей подвала толпятся солдаты. Подхожу — уксусный погреб, в котором уксус, выпущенный из нескольких бочек, уже стоит на четверть аршина от полу. Босой, завернувши штанишки, солдат стоит в этом озере, в руках затычка, вынутая из последней бочки, и из нее уксус бьет огромной струей.

— Зачем ты это делаешь?

— А так — вишь как бежит!

По жалобам жителей я ходил в разные части города, останавливал бесчинства, соединенные иногда уже с криком женщин и детей, бил по зубам, прогонял, но снова то же самое начиналось в другом месте. Женщин, впрочем, нигде не трогали в известном смысле: на одной площади я застал штук 50-60 турчанок старых и малых, собравшихся, как цыплята, в кучу головами вместе и, очевидно, творивших молитву. Струков велел отвести им особенное помещение и приставить караул.

Что касается разоружения жителей, то дело шло хорошо и с меньшими хлопотами, чем можно было бы ожидать. Боясь ответственности за удержание оружия, жители сносили довольно исправно свою защиту. Какого только оружия тут не было! И арабские ружья, с тонкими металлическими прикладами, и чисто турецкие, выложенные перламутром и слоновой костью; пистолеты, шашки, ятаганы; из последних некоторые были очень характерны — и я отобрал себе немало экземпляров как материал для будущих картин, предназначив некоторые для Струкова, обещавшего привезти, что высмотрит интересного по этой части, кое-кому из своих знакомых! Увы! С той же легкостью, с которой эти вещи приобрелись, были они и утеряны: телега, нагруженная нашими трофеями, на следующей же станции была разграблена ночью и так чисто, что ни самой телеги, ни волов, ее везших, не оказалось. Кому-то, верно, было нужнее, чем нам. Однако при сваливании этого спасенного со всего города орудия не обошлось без греха: казак, бросавший ружья слишком неосторожно, получил пулю в живот.

Скобелев, тем временем принявши и отправивши далее посланников, приехал в Германлы. Очевидно, ему не давала покоя мысль окончательно раздавить, а если можно, то и взять в плен армию Сулеймана-паши, т. е. довершить то, что не окончил Гурко, который, разбивши Сулеймана в нескольких сражениях, гнал турок перед собой. Но Скобелев обманулся в том смысле, что в действительности Гурко разгромил Сулеймана сильнее, чем слухи передавали, и турецкая армия, т. е. остатки ее, как мы уже и знали по нашим сведениям, узнав о перерезе ей дороги со стороны Германлы, отступила, бежала врассыпную, горами.

Скобелев пресерьезно собирался идти в Хаскию навстречу Сулейману.

Михаил Дмитриевич говорил мне:

— Василий Васильевич, что, вы со Струковым идете?

— Да, иду.

— Пойдемте лучше со мной. Вы знаете, Сулейман подходит, будем драться!

— Уверяю вас, что вы ошибаетесь — Сулейман идет горами.

— Ну, что же вы сморите, когда я имею самые положительные сведения; Панютин доносит, что уже завязал дело с несколькими передовыми таборами!

Я несколько смутился этою подробностью, но все-таки отвечал, что пойду со Струковым к Адрианополю.

— Как знаете, — ответил милейший Михаил Дмитриевич, надувши губы.

Я не знал еще тогда вполне, до какой степени я был прав и Скобелев ошибался; он совершил здесь одну из величайших ошибок, которую только может сделать командующий генерал — принял за регулярное войско и атаковал обоз турецких поселян, покинувших свои жилища и двигавшихся к Константинополю, как то приказал им бешеный Сулейман. Ошибке этой помогло, кроме помянутой и уже давней ревности Скобелева к Гурко, еще то обстоятельство, что к громадному обозу выселявшихся турецких семейств присоединились мужья, братья и прочие родичи из отступавшей армии, захотевшие весьма естественно оказать защиту своим и, при появлении русских, соединившихся в колонны. Эти колонны и были те таборы, которые высчитывал Панютин и казацкие начальники в своих донесениях генералу и против которых он выступил.

Я еще был у Скобелева, когда командир одного из донских казачьих полков, доносил ему, что «наступают».

— Хорошо, принимайте бой, принимайте бой!

— Есть убитые, тридцать лошадей ранено и убито!

— Хорошо, пусть будет триста.

— Слушаю-с, — отвечал полковник и вышел.

Не любят практические казаки терять не только людей, но и лошадей. Вспоминаются по этому поводу резоны командира Кубанского казачьего полка К., жаловавшегося мне под Плевной на легкость, с которой Скобелев относится к потере людей. «Ведь, когда я вернусь домой с полком, жена убитого потребует у меня ответа за мужа: куда ты, скажет, девал его, отчего не поберег? А он требует: “Стой в колонне, не рассыпайся, им-по-ни-руй!”» — хорошо импонировать, да коли народ валится!..

На дороге к Хаскию разгоралось дело; после горячей перестрелки пехота и кавалерия бросились на ура! И тут совершилось, надобно сказать, дело, которое Скобелев уже застал конченным и останавливать которое было поздно. Бравый Панютин плохо разобрал своего неприятеля и поднял на штык весь громадный обоз: на расстоянии многих верст дорога покрылась мертвыми и ранеными, телами не столько мужчин, сколько женщин и детей. Солдаты сбрасывали с повозок людей, разрывали, разбрасывали имущество, ища денег. Когда Скобелев подъехал — он ужаснулся сделанной ошибке. Но, пожалуй, довольно об этом. Мне возражали, говорили, что это неправда, но я повторяю то же самое, потому что считал это правдой.

Скобелев вышел на улицу провожать наш отряд к Адрианополю. Отводя меня в сторону, он сказал:

— Смотрите же, Василий Васильевич, чтобы отряд шел вперед.

— Будьте спокойны, — отвечал я ему, — зашагаем.

Здесь кстати сказать, что я не знаю офицера более исполнительного, дисциплинированного, чем Струков. Это тип образцового, методичного кавалериста: с целенькой головой, сухощавый, так что кожа обтягивает прямо кости и мускулы, он, по словам одного своего приятеля, желавшего сделать ему комплимент, «точно арабская лошадь». С огромными усами, меланхолическим взором, он постоянно нервно подергивается, но хорошо владеет собой и почти никогда не теряет ровного расположения духа, что весьма важно в командующем офицере. В армии подсмеивались над тем, что он всегда был на виду, всегда всюду поспевал; остряки говорили, что «где ни плюнь — там С-в», но сила этой остроты значительно умерялась тем обстоятельством, что то же говорили, вероятно, и отступавшие пред нами турки: как они не отходили, Струков с кавалерией был тут как тут.

Я положительно дивился выносливости и подвижности этого человека, у которого на взгляд «еле-еле душа в теле». Вставал он очень рано, сам стлал свою постель, сам ее и собирал, вина не пил, табак не курил, не только за людьми, но и за лошадьми смотрел, как за детьми: по ночам вскакивал по

нескольку раз, чтобы лично выслушивать все донесения, причем для офицера всегда находилось у него любезное слово, а для низшего чина «на водку» из своего кошелька. Так и вижу моего милого, бравого сотоварища, как он, закутанный в бурку и башлык, едет на сухопарой английской кобыле — под ним в походе были две кровные английские лошади; его профиль на полусвете холодного воздуха, в пять — четыре часа утра, начинает сгибаться, башлык опускается все ниже, ниже, пока, наконец, клюкает о гриву лошади. Иногда я не утерплю, расхохочусь над этой процедурой засыпания; тогда он вытаращит на меня сонные глаза.

— Что, что случилось? А! — и снова начинает клюкать.

Передовой отряд наш состоял почти из трех полков кавалерии: полка московских драгун, петербургских улан и неполного полка донцев, при одной конной батарее, которая постоянно завязала в грязи и замедляла наше шествие, хотя в то же время придавала нам авторитета.

Драгунами командовал полковника Я., добродушнейший воин, какого только можно себе представить, передвигавший свою тучную фигуру, как на кресле, на своем белом иноходце, в коем души не чаял. Я. был много старше по службе Скобелева, бывшего у него в эскадроне юнкером; теперь Я. командовал полком, а прежний его юнкер — всем авангардом армии. Отношения их остались дружеские и, конечно, Я. все готов был сделать для Михаила Дмитриевича, только иноходца своего не согласился уступить. Скобелев, бывши равнодушным к белым лошадям, скоро заметил чудесного коня и закинул удочку через Струкова.

— Михаил Дмитриевич говорил, что ты мог бы одолжить его.

— Чем только могу, очень буду рад.

— Твой белый иноходец...

— Ни за что, не стоит и говорить об этом!

Командиром улан был В., когда-то, говорят, блестящий светский офицер, теперь опустившийся, меланхоличный, недоверчивый. Недавняя, перед самым уходом в поход, случившаяся трагическая смерть его красавицы жены была, говорят, причиной этой разительной перемены. Я. держался с нами, т. е. со мной и Струковым; В. чаще один, иногда с некоторыми из своих офицеров.

Командир донцев Л., хотя и флигель-адъютант, был похож на всех донских командиров, берег лошадок, ловко добывал фураж и дисциплину понимал, очевидно, по-своему, потому что казачки его постоянно попадались в вымогательствах, что, впрочем, не мешало им хорошо нести разъездную службу.

Командира батареи что-то плохо помню — почтенных лет офицер, честно служивший своей родине, т. е. в данном случае, за отсутствием более боевой службы, с утра до вечера вытаскивавший свои орудия из страшной грязи.

У Струкова был еще, т. е. часто приходил к нам из полка, драгунский офицер В., милый и покладистый товарищ, писавший приказы и распоряжения по отряду Струкова и иногда донесения его высочеству под мою диктовку. Наконец, для полноты описания всего начальства нашего крылатого отряда, надобно сказать и о помянутом уже болгарине Христо, одном из тех усатых, раззолоченных кавасов, которыми так щеголяют все восточные посольства и консульства. Теми же невозможными усами и золотом на одежде внушал он страх и почтение и во время нашего похода и частица этого уважения естественно отражалась на нас, придавал важности и значения отряду, заключавшему в себе светило такой величины и такого блеска.

Лишь только пришли мы после благополучного дневного перехода, с одним роздыхом, к городу Мустафа-паша и перед конаком²⁶ сошли с лошадей — Струкова известили о прибытии посланных из

²⁶ Роскошный дом, дворец.

Адрианополя; он велел немедленно ввести их. Это были грек и болгарин; оба, от имени жителей своих национальностей, звали занимать город; турки-де, узнав о приближении русских, взорвали загородный дворец, служивший арсеналом. (У нас в отряде слышали этот взрыв. Как я после узнал, в этом дворце погибло много чудесных памятников старого искусства, между прочим, знаменитые залы, убранные сплошь лазуревыми изразцами.) Черкесы, по словам их, рыщут в окрестностях, того и смотри ворвутся в город и ограбят его. Что касается больших великолепных фортов над городом, стоивших туркам стольких трудов и издержек, то они оставлены за неготовностью некоторых и за недостатком людей для защиты их.

В большом зале конака Струков собрал военный совет из трех полковых командиров и меня. Он изложил вкратце суть дела: не было сомнения, что жители города, боясь грабежей, желают нашего прихода — и мы можем, пользуясь паникой, занять Адрианополь; но, с другой стороны, паника может быть вызвана и после: пехоты у нас совсем нет и появление одного, двух, а тем более нескольких таборов может быть очень опасно, особенно для наших орудий. По сведениям от болгар, как раз это время находился вблизи города — проходом — египетский принц с 2000 черной африканской пехоты, хорошо вооруженной. Кроме того, из остатков сулеймановской армии набралось в окрестностях или шло к Константинополю немало небольших отрядов. Объяснивши это, Струков предложил подавать мнения. Мне первому, как младшему чином — художнику — предложено подать голос: «Наступать!» Языков не нашел возможным высказаться решительно, говорил за и против, но больше за наступление. Балк был положительно против.

— Хорошо вам советовать наступать, не неся ответственности! — выговаривал он мне. — Что мы сделаем, если будет засада? Если мы наткнемся на пехоту? Если, раз занявши город, снова придется покинуть его? Необходимо подождать генерала Скобелева. Я подаю голос за ожидание подхода главного отряда!

Командир казаков не решался сказать ни да, ни нет.

Я все-таки повторял, что надобно наступать и высказал резон: необходимость предохранить город от беспорядков и вероятного грабежа черкесов и мародеров.

Струков не высказал пока никакого мнения и совет разошелся, ничего не решив окончательно. Но мне сдавалось, что генерал наш был тоже за наступление.

Скоро прибыл из Адрианополя еще гонец — пребуйный грек, вооруженный до зубов и чуть ли не под хмельком; он объявил, что послан новым губернатором, предложить русскому отряду занять город.

— Какой такой новый губернатор?! — спросил Струков.

— Ну! Когда военный губернатор взорвал замок и ушел с гарнизоном, султан приказал Фассу быть губернатором — кого же еще вам нужно!

Этот посланный своего губернатора держался так дерзко, что я попросил у Струкова позволения переговорить с ним построжее.

— Пожалуйста, — отвечал он. Во весь размах руки я вытянул буюна нагайкой — он ошалел и впервые встал смиренно и почтительно.

— Как ты смеешь так говорить с русским генералом, а? Поди скажи твоему новому губернатору, что генерал его не признает и придет сам назначить губернатора. Марш!

— Однако, строги же вы, — сказали мне Струков и офицеры.

— Попробуйте говорить с этими головорезами иначе, — отвечал я, — разве вы не видите, что это рассчитанная дерзость.

На другое утро просыпаюсь — Струков сидит на моей постели; видно было, что он давно уже встал

и ждал моего пробуждения.

— Я решил, — сказал он, — идем занимать город.

— Bravo!

Вчерашние посланные еще не уехали. Генерал послал их вперед объявить о нашем движении, и, отведя в сторону, потребовал, чтобы, в знак изъявления покорности Адрианополя, были поднесены ключи его, которые он должен переслать к его высочеству главнокомандующему.

— Да ключей нет у города, — отвечали сконфуженные посланцы, — где же мы их возьмем!

— Чтобы были, знать ничего не хочу! — решил А. П. Они уехали, но вчерашний грубиян решил отправиться днем, из боязни быть на дороге побитым — храбрость его была, очевидно, относительная.

Был прекрасный солнечный день, когда мы подходили к Адрианополю. Навстречу выехали несколько всадников и между ними два армянина, братья Абдулла, известной фирмы фотографов султана в Адрианополе и Константинополе. Перед самым городом показалась густая толпа двигавшегося нам навстречу народа, одушевление которого росло по мере нашего приближения; наконец, передовые не выдержали — бросились к нам бегом! Невозможно, немисливо описать их энтузиазм и сцену, затем последовавшую: с криками и воем бросались люди перед нами на колена, целовали землю, крестясь, прикладывались, как к образам, не только к нашим рукам, но и коленям, сапогам, стремянам. Не даваться, не допускать их до этого не было никакой возможности, приходилось подчиняться. Признаюсь, не могу без улыбки вспомнить фигуру Языкова с умиленной физиономией и расставленными для поцелуев руками — что твоя мадонна — буквально залитыми слезами восторженного народа. Струкова рвали на части; кабы не высота его английской кобылы, ему бы, кажется, несдобровать.

Дали знать, что на встречу идет духовенство с трастами и хоругвями, и мы уже совсем готовились вступить в улицы Адрианополя, когда я остановил Струкова.

— Александр Петрович, нам немисливо входить в город!..

— Отчего?

— Посмотрите на эти узкие улицы: всякий трусливый крик, всякий выстрел произведут панику; мыто еще ничего, а орудия совсем застрянут и не поворотишь ни одно!

— Так что же делать?

— Не входить в город, остановиться где-нибудь здесь.

— Нельзя уж — духовенство идет навстречу.

— Бог с ним, с духовенством, оно зайдет и с другой стороны.

Струков колебался.

— Да где же встать?

Я осмотрелся кругом.

— Вот налево гора, свернем туда.

Мы повернули круто налево на высокую гору, отряд и народ последовали сзади. Когда мы въехали на гору, то невольно ахнули от удивления: позиция идеальная! Ровная площадь, господствующая над всем городом, расстилавшимся внизу, как на ладони; не только положение наше здесь было почти неприступное, но мы своей батареей могли угрожать целому городу.

Только лишь въехали мы и осмотрелись, как навстречу из примыкавшего болгарского квартала вышла огромная процессия из представителей разных церквей и религий. Впереди был греческий митрополит (Лионисий), затем армянский архиепископ, болгарский священник, еврейские раввины,

турецкие муллы и с ними громадная толпа народа — вся площадь покрылась людьми: я думаю, было тысяч 30-40. Масса эта облегла и стеснила нас так, что пока мы слезали с лошадей, меня успели отделить от Струкова. Слышу крик его: «Василий Васильевич, проходите же скорей», он протянул мне руку и с помощью нескольких услужливых соседей я продрался до генерала. Мы приложились к крестам и поцеловали пухлую, мягкую руку митрополита, видимо, оставшегося довольным таким знаком почтения.

Тут вскочил на какую-то приступку тот самый новый губернатор, о котором была речь выше, толстый грек, со звездой Меджидие²⁷ на груди. В высокопарной французской речи он сказал нам приветствие, в которой не забыл упомянуть о том, что назначен охранять порядок, и, закончив свой спич словами: «Vive la Russie!²⁸ Ура!» — крик подхватила вся толпа — поднес Струкову на блюде ключи города (три числом, очень большого размера). Я спрашивал потом, где они достали эти ключи, и получил в ответ: «Купили на базаре». Надобно думать, что не без иронии к трем большим ключам были приброшены еще две связки маленьких. Кстати скажу здесь два слова о дальнейшей судьбе этих ключей: самый большой из них я взял себе для разбивания миндальных орехов, которые подавались у нас каждый день после обеда, так как они были очень вкусны и дешевы; два другие были отправлены сначала главнокомандующему, а потом в Петербург. Перед посылкой в Петербург Струков просил меня отдать третий, самый большой и внушительный, но я не отдал, и он висит у меня в мастерской, рядом с значком Скобелева.

Возвращаюсь, однако, к Адрианополю. Я посоветовал Струкову объявить самозваному губернатору, что он его полномочий не признает и покамест сам будет управлять городом до будущего распоряжения высшего русского начальства, что Александр Петрович и сделал. Грек сконфузился, но сейчас же нашелся, поблагодарил и опять прокричал «ура» в честь русских. Затем я высказался генералу, и он тут же громко передал мои слова народу касательно способа, каким мы можем первое время довольствоваться отряд, охраняя неприкосновенность жилищ. «Пусть, — объявил генерал, — всякая народность выберет по два представителя, пусть собрание этих представителей под председательством греческого митрополита озаботится своевременным доставлением людям и лошадям корма; на этом, и только на этом, условии не будет делаться реквизиций и солдаты не будут посылаться в город: если же все нужное не будет доставлено, солдаты будут сами доставать то, что им нужно, а им известно, что это значит! За все принесенное будет заплачено главной квартирой». Все были, видимо, довольны, пропал их страх иметь дело с солдатами, — страх, совершенно понятный. Грек Фасс и за ним вся толпа закричала «Ура, царю Александру!» и на этот раз кричали, должно быть, вполне искренно — так громко, что просто оглушили.

Когда духовенство ушло, мы направились в церковь болгарского квартала, которая, разумеется, была полна-полнехонька народом. Началась служба с ужасным греческим напевом, представляющим противоположность с нашим обыкновенно более или менее гармоническим напевом: я слыхивал его и прежде, но такого невозможно гнусливого завыванья, как здесь, еще не слышал и, признаюсь, как это ни глупо, но мной овладел дурацкий, беспричинный смех, который трудно было скрыть. На беду, еще Струков, рядом стоявший, обратился ко мне с лаконической заметкой:

— Каково поют, а?

Должно быть он сам потерял терпенье, потому что, когда священнослужители, кончивши часы, стали облачаться для обедни, он подозвал Христо: «Поди, скажи священнику, что мне некогда сегодня — пусть оканчивает». Положение неудобное — они только собирались начинать, откашливались и обдергивались!

²⁷ Орден Меджидие — османский орден, учрежденный в 1852 г., одна из важнейших наград Османской империи. Орден Меджидие могли награждать иностранных дипломатов и военных, а также женщин.

²⁸ Да здравствует Россия! {фр.}

Приложившись к кресту, мы вышли из церкви, сели на лошадей и возвратились на площадь. Здесь Струков поставил отряд свой в каре, объехал его, поблагодарил за службу и поздравил с занятием второй столицы Турции, знаменитого города Адрианополя.

Солдаты расположились бивуаком, а мы заняли угловой дом на площади. Скоро пришло известие, что черкесы грабят дальние кварталы города. Струков дал мне полэскадрона драгун и велел проехать по улицам, успокоить жителей, да кстати разузнать на месте, сколько правды в известии, что бесчинствуют черкесы. Я захватил старикашку-болгарина или грека, хорошо говорившего по-турецки и порядочно понимавшего по-русски, и, проезжая по всем главным улицам, заставил его громко объявлять, чтобы ничего не боялись, так как русская власть сумеет всех защитить. Шум подков наших лошадей на мостовой города производил сначала чуть не панику, но, уверившись, что мы «спасители», женщины из домов протягивали руки с плачем, а те, что были внизу, просто бросались под ноги лошадей, с криком:

— Нас грабят, грабят!

— Где, кто вас грабит?

— Там, там, черкесы!

Я не мог себе представить, чтобы возможен был такой сильный и совершенно неосновательный перепуг! Объехав город в разных направлениях, я проехал до самых тех мест, где, по словам многих встречных, были беспорядки — нигде ничего, полное спокойствие везде, повсюду глупые уверения, что там дальше грабят — что значит паника!

Полковые командиры очень были недовольны тем, что доверили доставку провианта и фуража самим жителям; так как я был виновник этого способа, то на меня преимущественно и шли нарекания. Кроме того, я рассердил их тем, что поймал и привел к Струкову несколько человек драгун, пробовавших мародерствовать по ближайшим болгарским домам, и генерал приказал наказать их, в пример другим, перед фронтом — наказание было горячее. Мне казалось, что даже добрейший Я..., как только я выходил из комнаты, начинал пугать Струкова тем, что нам ничего не доставят, и люди и лошади останутся голодные; я видел, что Струков начал сдаваться, беспокоиться и, вероятно, сожалеть, что, послушавши меня, распорядился так гуманно. Наступил вечер; мы послали сказать, чтобы поторопились — один ответ: «Все будет, все будет!», но ничего не было. Видно было, что только из боязни генерала меня не бранят в глаза, а главное, я начинал чувствовать себя, действительно, виновным в общем голодании. Наконец, когда уже смеркалось, явились громадные корзины со всем, решительно всем: хлеб, суп, говядина, вино, даже табак не был забыт — полная корзина прекрасного турецкого табаку! Все оживились и повеселели, только сена лошадкам было мало, пришлось пробавляться, главным образом, ячменем и овсом. Сено, которое я высмотрел в ближнем здании, госпитале, С. справедливо признал опасным для раздачи, как могущее занести болезни.

Это распоряжение доставления пищи на первых порах самими жителями многие находили все-таки непрактичным; но я и теперь искренне думаю, что оно было наиболее подходящее к обстоятельствам: пусти тогда генерал своих солдат по домам разыскивать сено, ячмень, хлеб, куриц и т. п. Нет сомнения, что богатый город был бы сгоряча порядочно ощипан, а сам отряд деморализован — и я очень рад, что рассудительный Струков не дал сбить себя с толку; не только город не был ограблен, но и сохранены с жителями лучшие отношения, т. е. у нас дело шло совершенно противоположно тому, что было после, когда подошли войска, начались беспорядки, ссоры, даже убийства наших солдат жителями.

В тот же день после полдня, к нам явился австрийский консул в полном облачении и с ним старый знакомый, грек Фасс. Этому последнего попросили подождать в другой комнате, так как не имелось в виду входить с ним в какие бы то ни было сношения, а консулу предложили сесть. Он прямо приступил

к делу.

— Вы сменили, — сказал он Струкову по-французски, — единственную власть, бывшую в городе, губернатора Фасс; теперь готовится возмущение, вся вина которого естественно падет на вас.

Генерал немножко замялся... как будто не сейчас сообразил, что ответит он.

Мне со стороны виднее была игра австрийца и я сказал Струкову:

— Ваше превосходительство, позвольте мне от вашего имени ответить господину консулу.

— Пожалуйста, — отвечал он.

— Генерал очень благодарен вам, господин генеральный консул, за ваш совет, который он принимает, как совет истинной дружбы. Как уже сказано г. Фассу, генерал сам временно будет смотреть за городом, до приезда генерала Скобелева, от которого будет зависеть дальнейшее распоряжение. Что же касается возвещенного вами возмущения, то командующий отрядом просит вас верить, что это вздорные выдумки. Он отвечает за порядок и порубит всех, кто посмеет нарушить его. Еще раз примите большое спасибо за вашу предупредительность.

По известному дипломатическому правилу — *faire bobbe mine au mauvais jeu*²⁹, консул показал вид, что очень доволен этим сообщением и ушел — несолоно похлебавши — уведя с собой не принятого проходимца Фасса. Струков и Языков горячо благодарили меня за эту отповедь — мыслимо ли было позволять соваться в военное управление консулам, которые, конечно, добивались этого.

Струков просил меня съездить осмотреть склады городские. Везде я застал страшное безурядье: все, кто мог, тащили охапками и возами запасы платья, полотен, хлеба. Я вытолкал воров, несмотря на их протесты, что «они охраняют», запер двери на ключи и приставил караулы....

Склады, впрочем, были так велики, что осмотреть, а тем более проверить их не было возможности в такое короткое время. Как после оказалось, в одном из складов нашлось множество прекрасных бамбуковых тростей для пик, которые главнокомандующий подарил лейб-уланскому полку; добрейшему А. П. было кажется досадно, что я просмотрел эти дротики и не дал ему возможности преподнести этот подарок своим однополчанам.

Вместе со складами я осмотрел и многие мечети, из них главная — забыл ее имя — великолепна, величественна!

Только что воротился я с этого осмотра, как у нас случился пожар, что, впрочем, было неудивительно, потому что казаки, благо в сухих дровах недостатка не было, развели ужасный огонь на кухне — хорошо, что сгорел один только дом, нами занимаемый, а соседние отстояли.

Струков известился, что протеже австрийского консула грек Фасс, смещенный с губернаторства, интригует, старается вызвать недоразумения и беспорядки, и хотел арестовать его, но, передумав, решил только сделать ему внушение. Рано утром я поехал к грекосу на дом с несколькими драгунами, которые оцепили дом; я вошел в комнаты, где из всех дверей и щелей торчали испуганные физиономии. Хозяин вышел бледнее смерти, с каким-то оловянным взором — очевидно, он ожидал, судя по турецким порядкам, что пришел его последний час. Я собрал всю мою дипломатию и, осведомившись о его здоровье, количестве детей и прочем, завел речь на необходимость для него воздержаться от всяких тайных происков, которые могут навлечь на него большие неприятности; в заключение прибавил, что генерал поручил это передать ему и выразить от его имени уверенность, что не придется прибегнуть к крайним мерам, Фасс чуть не одурел от радости: как-то подпрыгивая, он начал уверять в преданности, желании быть полезным и прочее и прочее.

Привели к Струкову двух албанцев, отчаянных разбойников, по уверению болгар, вырезывавших

²⁹ Делать хорошую мину при плохой игре {фр.}.

младенцев из утроб матерей. Генерал приказал связать их покрепче, и драгуны, поставивши ребят спинами вместе, стянули локти, так, что они совсем побагровели и двинуться потом не могли. Брошенные на землю, они, как два тигра, мрачно смотрели исподлобья на окружавшую их толпу болгар, преимущественно женщин и детей, бранившихся, плевавших им в глаза, бросавших комьями и грязью. Приставленный к ним часовым драгун, конечно, не мешал этому ляганью и заушенью.

Ввиду тяжести обвинений я предложил Струкову повесить их, но он не согласился, сказав, что не любит расстреливать и вешать в военное время и не возьмет этих двух молодцов на свою совесть, а передаст их Скобелеву — пускай тот делает, что хочет.

— Хорошо, — отвечал я, — попрошу Михаила Дмитриевича: от него задержки, вероятно, не будет.

— Что это вы, Василий Васильевич, сделались таким кровожадным? — заметил Струков. — Я не знал этого за вами.

Тогда я признался, что еще не видал повешения и очень интересуюсь процедурой, которая, конечно, будет совершена над этими разбойниками. Мне в голову не приходило, чтобы их можно было «простить». — до такой степени ясно были они обвинены населением, с показаниями свидетелей и прочих.

Когда на другой день я пришел взглянуть на двух албанцев, жалость меня взяла — напрасно их сейчас же не расстреляли. Совершенно опухшие, посинелые от перевязки, они припали к земле, глухо выговаривая: «Аман, аман»! Чалмы и фески были сбиты, лица и головы разбиты, окровавлены комьями и камнями, которые густая толпа народа не переставала швырять в них. Часовой продолжал бесстрастно ходить около, не видя надобности мешать потехе.

Скобелев приехал к вечеру. Мы выехали встречать его на железную дорогу и потом большой, нарядной кавалькадой проводили до конака, где он поместился. По дороге все население вышло приветствовать храброго генерала; повторилась сцена энтузиазма нашего въезда, хотя уже гораздо менее восторженная — такие сцены, как та, не могут повторяться. Из всех домов выглядывали лица гречанок, некоторые поразительной красоты; я ехал за Михаилом Дмитриевичем и командовал время от времени:

— Глаза направо, глаза налево, выше!

Ярый поклонник женской красоты, он так и впивался глазами в красавиц, да, кажется, и те с своей стороны особенно старательно провожали его взорами. Смотрим, наш приятель Фасс тут как тут! едет за генералом, чтобы показать, что и он в милости. Его попросили убираться, тогда он поехал впереди и стал кричать направо и налево:

— Кланяйтесь генералу, приветствуйте генерала!

Ему послали сказать, чтобы он убрался совсем вон — тогда только он скрылся.

Я попросил Скобелева повесить помянутых двух разбойников, он ответил: «Это можно», и, позвавши командира стрелкового батальона полковника К., приказал нарядить полевой суд над обоими схваченными албанцами и прибавил:

— Да, пожалуйста, чтобы их повесить.

— Слушаю, ваше превосходительство, — был ответ.

Я считал, что дело в шляпе, т. е. что до выхода нашего из Адрианополя я еще увижу эту экзекуцию и после передам ее на полотне. Не тут-то было: незадолго перед уходом, найдя обоих приятелей все в том же незавидном положении и осведомившись: «Разве их не будут казнить?» — я получил в ответ: «Нет».

Узнавши о назначении полевого суда, Струков просил Михаила Дмитриевича, «для него», не убивать этих двух кавалеров и очень вероятно, что они и по сию пору здравствуют, похваляют

милосердное русское начальство... и распарывают чьи-нибудь животы... Я написал их связанными, так и не понявши, какое сентиментальное чувство побудило миловать албанских разбойников, без зазрения совести губивших болгар, когда жизни наших жертвовались за тех же болгар тысячами.

II

К ночи, на третий день пребывания в Адрианополе, мы выступили по дороге к Константинополю. Было так темно, что отряд разорвался, потеряв след впереди шедших коней; вот был хороший случай неприятелю порубить нас или захватить в плен: рыскавшие в окрестностях черкесы могли бы это сделать, если бы они не выродились и из диких, неукротимых горных пантер не обратились в степных шакалов, годных только для грабежа. Мы остановились посреди дороги, около каких-то домишек, развели большой огонь и, дремля близ пылавших бревен, дождались утра, когда догнали полки.

Остановка и отдых были в селении-городке Хавса, где мы нашли в конаке полный тюремный аппарат для пыток и для заковывания преступников в кандалы. Маленькую коллекцию этих турецких игрушек, как то — шейные, ручные и ножные кандалы, весьма почтенного веса, и еще более увесистую цепь — я взял себе на память; на эту цепь нанизывались преступники, болгары преимущественно, когда их скованными отправляли в Адрианополь.

Здесь выбежали к нам болгары с соседнего чифлика (т. е. фермы) сказать, что несколько турок ночевали там эту ночь и произвели страшные дебоширства, даже трогали женщин. Струков дал мне Христо и несколько улан и велел, если возможно, накрыть злодеев. Когда, проехавши на рысях пять верст расстояния до чифлика, мы прибыли туда, нам только показали далеко впереди, между пригорками и кустами, три фигуры турок, улепетывавших во все лопатки; как я мог рассмотреть, это были пехотные солдаты; Христо, охваченный воинственным жаром, просил позволить ему хоть с одним солдатом догнать беглецов, но это было очевидно нелепо, так как до них было не менее двух верст и они, конечно, всегда могли если не убежать, то хоть спрятаться от преследования. Я предпочел воротиться без победы, но Христо мой, понимавший храбрость только в самом бурном смысле, решился вложить в ножны свою саблю, которую он уже извлек, не прежде, чем отсеки ею голову хоть гусю, пасшемся в небольшом стаде около фермы. Обезглавленный потомок спасителей Рима, вместе с другим, живым, был взят нами с собой, так же как запас кислого молока и кислой капусты, несколько напомнивших за обедом далекую родину. Мне указали на женщин, потерпевших от турок.

— С вами дурно обошлись?

— Да, — отвечала один, — конфузясь и закрывая лицо руками — очевидно, расспрашивать их о подробностях не приходилось.

По дороге отсюда, из Хавса, еще более, чем около Адрианополя, выбегало к нам навстречу жителей, покинувших дома и спасавшихся в окрестных лесах и кустарниках. Сначала мы приняли их издали за неприятельских мародеров, да и они, очевидно, не сразу решились выходить к нам из своих засад, не будучи совершенно уверены, что это точно православное русское войско, о приближении которого они, конечно, хорошо знали; зато, раз уверившись в этом, высказывали свою радость самым искренним образом, бросались перед нами на колена, целовали полы платья, когда им удавалось поймать их; большинство плакало и кричало: «Да живей, да живей царь Александр!» Все они жаловались не только на турецкие войска, но и на турецких поселян, ушедших к Константинополю и перед своим отходом ограбивших односельчан болгар дочиста: отнявших с помощью местных турецких властей не только всю одежду, посуду, ценные вещи, у кого были, но и лошадей, волов, телеги; по словам их, эмигранты эти выступили недавно и не должны были быть еще далеко впереди нас: они умоляли воротить им хоть что-нибудь из награбленного добра!

С приближением нашим к Баба-Эски, следы поголовного разбоя и грабежа делались все сильнее и

сильнее: раздавались плач, вой, причитанья женщин: видно было, что грабеж совершен был очень недавно. При входе в местечко бросался в глаза труп болгарского священника, уже старика, лежавшего под забором с глубоко перерезанным горлом. Соседи рассказывали, что злодеи пристали к покойному с требованием указать, где у него скрыты деньги, также, где спрятаны молодые девушки местечка, и, когда он ответил, что денег нет, а где женская молодежь, он не знает — убили его. Там и сям по домам раздавался жалобный женский плач. Последние турки ушли только накануне и, двигаясь на волах, очевидно, должны были быть еще недалеко.

Здесь, как в Хавса, была наша дневка. Струков шел разумно, не застаиваясь нигде, отдыхая каждый третий день. Мы выступали очень рано, еще в темноте, делали привал для роздыха и еды, потом до вечера опять шли и останавливались на ночь; затем шли также с роздыхом весь следующий день, а все последующие сутки отдыхали. Генерал обращал особенное внимание на лошадей, которые были свежи, бодры и в хорошем теле; про людей и говорить нечего — все смотрели гололем.

Не доходя Люле-Бургаса, мы начали догонять последние возы турецких беглецов. Боясь обыска и ответственности за грабеж, они бросали по дороге разные болгарские узоры и прошивки, отодранные от украденного добра — я подбирал и составил себе интересную коллекцию; бросали сабли, ружья, предварительно изломанные и разбитые. Струков дал им приказание остановиться, для чего пришлось, посылать далеко вперед, так как возы растянулись на огромном пространстве. Часть была собрана перед мостом, ведущим в город, другие стояли на дороге, третьи стояли еще по другой дороге и, наконец, еще возы двигались по третьему пути, по другой стороне Марицы, но тех мы уже не могли остановить. Число возов было громадно. Помню, Струкову был печатный укор за превышение числа эмигрантов; несмотря на просьбу его, я не хотел вмешиваться в то время в газетный спор, но теперь, кстати, замечая, что факт отступления турок по нескольким дорогам разбивает помянутые нападки. Донесение главнокомандующему о деле турецких беженцев писано мною и все цифры, приблизительно, разумеется, верны.

Так как этот народ сам не знал, зачем он двигается к Константинополю, где их ожидало разорение, голод, болезни, то я предложил генералу позволить вернуться назад тем, которые бы этого пожелали; он согласился. Взявши Христо и велев собраться старшинам эмигрантов, я объявил им, что в «Руме, куда они идут, уже теперь голод, они проживутся там, разорятся и переболеют, поэтому не лучше ли им теперь же вернуться назад — русский генерал не только не будет препятствовать возвращению, но, желая им добра, даже советует это». Много было у них толков по этому поводу. Очевидно было, что некоторые, на совести которых, вероятно, было менее грехов и несправедливостей против болгар, хотели вернуться; другим самая мысль об этом была противна. Им дали подумать на свободе и в назначенный час велели дать ответ.

Тем временем, объехавши все кварталы этого подвижного городка переселявшихся, я объявил, чтобы все оружие было снесено на площадь — за утайку будет строго взыскано. Скоро целая гора разного орудия была снесена в кучу, из которой я опять выбрал себе несколько хороших экземпляров; кое-что взяли офицеры, а прочее было снесено под караул на хранение.

Часть турок решила возвратиться, если им дадут конвой для защиты от болгар — им обещали, и они скоро, действительно, выступили в обратный путь, под прикрытием нескольких улан. Болгары, чувствуя теперь свою силу, как шакалы, рыскали в окрестностях и некоторые имели смелость даже на наших глазах стащить кое-что с турецких возов, утверждая, что это их же. Я отогнал многих ударами нагайки, но в сущности был бы в затруднении решить, кто тут грабит и кто ограбленный — не разберешь.

Проезжая в толпах турок и их повозок, я заметил, что большинство женщин были очень красивы собой, встречались просто красавицы. Помню, Струков разговорился с некоторыми из них, обратившимися к нему с какою-то просьбой, и одна, еще очень красивая молодая бабенка, так бойко

болтала, так настаивала на том, что у нее муж убит и она теперь свободна делать, что хочет, что добрейший Александр Петрович не утерпел, заметил: «А ведь баба-то... шалит».

Большая часть повозок решила все-таки продолжать путь далее, и им в этом не препятствовали. Когда передовые телеги, перейдя вброд протекающую тут реку, выступили, я поехал посмотреть, насколько там соблюдается порядок, и еще у самой реки услышал раздражающие женские крики. Я поскакал к тому месту, откуда они доносились, и что же увидел: казаки остановили повозку, двое из них вскочили туда: один держит женщину, другой обыскивает ее, обыскивает мастерски, точно на фортепьяно играет! Бросить свою жертву и скрыться не хуже любой кошки было для казачков делом минуты; тем не менее их разыскали и на другой день посреди отряда, построенного в каре, была совершена экзекуция розгами, в пример всем — «имейя очи видети, да видит», Струков сказал мне спасибо, но полковой командир казаков был недоволен.

Вечером, в день выступления всей этой массы турецких эмигрантов, я написал, по просьбе Струкова, донесение главнокомандующему, где выставил на вид необходимость дать понять константинопольскому правительству весь вред таких насильных выселений, более разорительных и для края, и для самих выселявшихся, чем самая война, и бывших следствием только фанатизма и сумасбродства Сулеймана-паши.

На дороге отсюда случилась ложная тревога у нас, т. е. у Струкова и ехавших с ним вместе не по той дороге, по которой шел отряд, чтобы избежать пыли и встреч с повозками, а по другой, ближе к протекающей тут реке. По той стороне реки шло также немало повозок и всякого сброда; мы заметили, что большая группа этих людей, оглядевши нас, бросилась к лодкам и начала переправляться на нашу сторону... По правде сказать, все, начиная со Струкова, немножко струхнули, конечно, не опасности быть убитыми или ранеными, а возможности попасться в плен — нас могли захватить, как полдюжины баранов, потому что мы были очень далеко от своих и совершенно безоружны, если не считать револьвера у меня и ружья у моего казака. Оказалось, что у людей этих были мирные намерения: это были болгары, явившиеся донести о движениях турок, принести жалобы и прочее, и мы сами посмеялись над нашим переполохом.

* * *

Мы приближались к городу Чорлу, в котором, по сведениям, добытым от туземцев, находились турецкие войска. Для разведки послан был князь Д. с полуюэскадром драгун, участью которого генерал стал скоро беспокоиться, так как болгары по дороге утверждали, что турки имеют пехоту и орудия. На последнем привале, перед самым выходом, Струков, не получа вестей от кн. Д., тоскливо спросил меня, как я думаю, хорошо ли будет идти всем отрядом, не разузнавши о силе неприятеля? Я отвечал, что, конечно, неблагоприятно, и предложил поехать вперед на рысях, с сотней казаков, осмотреть позиции турок, вызвать огонь из орудий, если таковые есть, и прислать ему набросок места расположения неприятеля. Струков так и сделал: призвал одного из сотенных командиров и сказал ему:

— Вы пойдете вот за ними, они будут снимать турецкую позицию, потрудитесь прикрывать и защищать их.

Как потом оказалось, это спасло драгун и даже избавило бы их вовсе от потерь, если бы не лукавство и «себе на уме» казачков. Получивши приказание оберегать меня, в виду турецких позиций, т. е. подвергать и себя, и своих лошадок опасности, почтенные Дониличи (с Дону) очень не торопились исполнить его: я поехал рысцой, они — шажком; я прибавил рыси и послал к ним одного из бывших при мне двух казаков, с предложением поторопиться — они ответили, что лошади очень устали и, переходя от слов к делу, сошли с коней и повели их в поводу, — дескать, успеешь.

Подъезжаю к Чорлу, слышу выстрелы, чаще, чаще — горячая перестрелка! Тогда я послал казака уже с приказанием сотенному командиру попевать марш-маршем под страхом строжайшей ответственности. Сам остановился, жду, каюсь, далеко нехладнокровно. Передо мной спуск в

глубокую ложбину реки, за которой виден город; выстрелы и крики все приближаются, приближаются; наконец, из-за горы показывается всадник, другой, третий — это наши драгуны, во весь опор утекающие от преследующих их турок. Кровь бросилась мне в голову — вот, думалось, неприятель сейчас налетит и порубит.

— Стой, стой! — закричал я, бросаясь наперерез. — Стой, такие-сякие! — и уже поднял нагайку на одного солдата, но, взглянувши на его лицо, опустил руку.

— Я ранен, — промычали его позеленевшие губы, и детина пронесся, не в силах будучи сдержать лошадь. В это время прискакали казаки, и турки, с высоты города видевшие их подход, дали знать своим остановить преследование.

У драгун кавардак был полный; они собрались на возвышенном берегу лощины и люди, в первый раз бывшие в огне, насилу, очевидно, опомнились от сюрприза. Я заметил Д.:

— Как нам не стыдно так отступать?

— Что же вы хотите, — ответил он, — люди молодые, не слушают команды. Потом, немного погодя, подумавши, рассердился и прибавил: — Да вам-то что за дело?

— Стыдно только за вас, больше ничего.

Однако, и вправду, при нечаянном нападении на людей, не слыхавших еще огня, офицерам оставалось только одно — спастись следом за ними, что они и сделали, отстреливаясь револьверами от нападавших на них турок.

Все дело происходило так: Д. благополучно дошел до Чорлу, не обративши достаточно внимания на то обстоятельство, что болгары не вышли к нему навстречу перед городом, что служило уже верным знаком присутствия турок. Спустясь к реке в ложбину, на которой идет полотно железной дороги и находится железнодорожная станция, он стал допрашивать, есть ли в городе турки.

— Нет, — отвечал помощник смотрителя, — они ушли все, — и это была правда.

Д. велел слезать с лошадей и повел осматривать станционные здания.

Между тем турки, которых было до двух тысяч, действительно, выступили из города и передние их части были уже далеко, но арьергард, состоявший из кавалерии личного конвоя султана, прекрасно одетого и вооруженного скорострельными ружьями Пибоди, только что оставил город; услышав, что «москов» пришли в небольшом числе и расположились на станции по-домашнему, они повернули назад и, в числе двух-трех сотен, ударили на наших! Драгуны едва успели вскочить на лошадей и собраться на мост, где стали отстреливаться; турки засыпали их свинцом, и наши, чтобы не отстать, отвечали по возможности тем же; но так как у них было всего по 20 патронов на человека, то они в несколько минут расстреляли все, а затем, видя, что неприятель стал переходить речку вброд, с намерением обойти и окружить их, ударились наутек; турки за ними, порубили 15 человек и, конечно, истребили бы всех, если бы не показалась следовавшая за мной сотня казаков.

Я встал с казаками на самый край холма, облежавшего ложбину речки. Перед нами был весь живописно раскинувшийся на противоположной возвышенности город; внизу — железнодорожная станция и мост, по которому лениво отходил неприятель, оглядываясь как бы с сожалением, что пришлось выпустить из рук добычу; перейдя мост, они присоединились к своим, выжидая, очевидно, что мы предпримем. Зная, что Струков, которого должен был известить тот же самый казак мой, что вызвал сотню, не оставит прислать подкрепление, я предложил сотенному командиру начать тихонько спускаться, а Д. крикнул, чтобы, в случае нужды, он поддержал нас.

— Не ходите, — вопил издали Д., — я вам говорю, не ходите — их много!

Сотенный командир объявил, что он не берет на себя повести людей в таком малом числе.

— Разве вы прикажете?

— Я не имею права вам приказывать, но если вы не решаетесь, — хорошо, приказываю — вперед, дружно, теснее!

Тихо стали мы спускаться, драгуны пошли за нами, тихо же стали отходить турки. Они были от нас в расстоянии 400-500 шагов, так что мы могли рассмотреть каждого всадника отдельно: все, как на подбор, шегольски одеты, с полулуниями на шапках и все на славных, маленьких, крепких конях.

В донесении, посланном Струкову, я предложил, кроме подмоги лично нам, послать еще по отряду в обход, что он и исполнил: лишь только мы перешли мост, пришел к нам на рысях эскадрон улан и с адъютантом этого полка, милейшим офицером, имя которого забыл, мы были торжественно встречены, как избавители (чему мы немало смеялись), вышедшими греками и болгарами, причем дело не обошлось без целования наших рук и ног.

Страшный вой огласил в то же время окрестность: это Д. наказывал железнодорожного чиновника, будто солгавшего ему, что турки уже ушли, в сущности сказавшего правду, — но за правду ведь бьют! Так как экзекуцию производили потерпевшие драгуны, то легко было понять, что она была нешуточная и что кричавший не притворялся.

От генерала пришло приказание не входить в самый город, ожидать его. Скоро приехал Струков и с ним ротмистр князь Васильчиков, привезший известие о заключении перемирия! Отряд был остановлен, подошедшие болгарские священники отслужили молебен, после чего князь Васильчиков, передавши солдатам благодарность его Высочества Главнокомандующего за службу, объявил о заключении перемирия и вероятности скорого заключения мира. Ему, как и Струкову, с своей стороны благодарившему за только что кончившееся дело, отвечали дружным, громким «ура».

III

Мы расположились в «конаке» и общество наше увеличилось теперь князем Васильчиковым, простым, покладистым малым. Мясо и овощи были не дурны, масло, сливки — очень хороши, а изюм и миндаль так дешевы и вкусны, что мой адрианопольский трофей, — по всей вероятности от какого-нибудь амбара, ключ — безустанно работал, разбивая орехи. Казак мой, кубанец Курбатов, вороватый, но не злой малый, прежде бывший в должности и драбанта³⁰ и повара, теперь не был допускаем к варке щей, борщу и т. п., хотя он ссорился с людьми Струкова из-за этого и уверял, что сварил бы не хуже других; ему было поручено приготовление только кофе, потреблявшегося в огромном количестве и поэтому варившегося в колоссальном медном чайнике. Потому ли, что кофе был, действительно, хорош, или потому, что, при постоянном движении, желудки наши были не взыскательны, мы очень хвалили его, так Курбатов мой так возгордился, что когда кто-то другой позволил себе приготовить этот напиток, он полез в драку. Интересно то, что, главным образом, приготовлению этого кофе казак мой обязан был полученной им наградой.

— Почему вы, Василий Васильевич, не представите вашего казака? (к награде) — спросил меня С.

— Да за что же ему давать крест, ведь он в огне со мною ни разу не был.

— Что ж такое, это не его вина, не случилось; я уверен, что при случае он не отстал бы от вас.

— Так-то так; пожалуй, представьте.

Таким образом Курбатов украсился знаком отличия...

Здесь кстати сказать, что легкость, с которой даются солдатские кресты, удивительна; еще в частях соблюдается кое-какая справедливость, потому что данные знаки отличия, столько-то на роту, распределяются, большей частью, самими же солдатами, которые хотя и присуждают их не

³⁰ Драбант — военнотружущий, в обязанности которых входило сопровождение, охрана или обслуживание высших чинов.

действительно отличившимся, а фельдфебелю и унтерам, но все-таки вопиющих несправедливостей избегают. Но почему, например, юнкера и разжалованные из офицеров всегда все увешиваются одним, двумя, тремя и четырьмя³¹ Георгиевскими крестами, даже если они только просто участвовали в деле? Разжалованный офицер может быть уверен, что на него навесят так себе ни за что, из одного уважения к несчастью, два — три креста, за которые солдату надо крепко отличиться или принять несколько ран. Денщиков в штабах и главных квартирах, всех людей мало-мальски влиятельных или имеющих доступ к влиятельным лицам, непременно украшают крестами, даже если они ни разу не слышали свиста пули, а только перевозили господскую хурду-мурду в обозе армии. У С. денщик, казак Паршин, получил два креста и в благодарность, перед уходом домой на Дон, стянул у барина скорострельное ружье. Наш Христо, носивший один крест, но имевший непреодолимое желание навесить несколько, просил меня в конце похода замолвить за него Струкову, причем, разумеется, высчитал все свои права и заслуги. Увы, надобно сознаться, что я обещал замолвить и, действительно, замолвил. Во время коронации я видел Христо, с важностью ученого пуделя ходившего за болгарским князем, с тремя крестами в петлицах, — утешаюсь тем, что не по одной моей вине, что тут был грех и С. и разных благодетелей главной квартиры, перед которыми brave Христо, конечно, не преминул повторить счет своих прав и заслуг.

Казачи наши, должно быть, обрадовались перемирию: запалили такой огонь, что, проходя мимо их помещения, я невольно подумал: «Не было бы, однако, опять пожара!» — Так и есть, скоро запылал весь дом, и я едва успел сам вывести моих лошадей. Никто, впрочем, не сгорел, хотя дело было к ночи, и никто ничего не потерял в огне, зато прекрасный конак сгорел дотла — второй дом счетом из приютивших нас и наших героев-денщиков! Была уже темная ночь, когда мы, стоя на другой стороне площади, наблюдали за тушением огня и отстаиванием соседних зданий, а потом перебрались в одну из недалних улиц, в дом какого-то грекоса — и поместились недурно.

Немало тут было хлопот с жителями, жаловавшимися на обиды и несправедливости не только турецкие, но и наших солдатиков, нет-нет, да и покушавшихся искать счастья в чужих домах. Один раз я ходил ловить мародеров вместе со Струковым, который, потерявши терпение, пошел ночью проверить справедливость жалоб жителей на обиды; больше же я ходил один с казаком. «Что ветра в поле» искать этих ловкачей, искателей кладов — шмыгают через заборы и крыши да и баста! Хоть и то ладно, что спугнешь их.

У Струкова здесь была масса дела; днем я помогал ему, чем мог, так же, как и помянутый драгунский офицер, переписывавший бумаги; но ночью я преисправно спал и только спросонья, одним глазком, видал иногда, как он строчит донесение или принимает его от одного из многих маленьких отрядов, разосланных в разные стороны: там захватили железнодорожную станцию с правительственной корреспонденцией, там напали на шайку грабивших черкесов, или на возу захватили турецкое знамя, снятое с древка, с целью половчее скрыть его, и т.п. Как в известном французском водевиле «Угольщики», где полицейскому комиссару не везет с завтраком; только что он вытащит его и соберется закусывать — стучатся просители и жалобщики; только что мой Александр Петрович прочитает депешу, дает ответ, отпустит вестника и, затушив свечу, собирается всхрапнуть — опять в темноте: стук, стук! «Ваше превосходительство!..»

Скобелев приехал на третий день вечером на железнодорожной дрезине; мы его ждали очень долго, не дождалось, воротились назад на станцию и готовились уехать домой, когда он подкатил. Оказалось, что милейший Михаил Дмитриевич выбрил себе голову, что, по правде сказать, очень не шло к нему, тем более, что картуз, сделавшись слишком широким, сидел совсем на ушах. Скобелев всегда страшно боялся потерять волосы, облысеть, как отец его, и достаточно было сказать ему: «А ведь волосы-то у

³¹ Четвертый — золотой с бантом. — *Примеч. авт.*

вас скоро вылезут, Михаил Дмитриевич», — чтоб он, посуливши типуна на язык, на другой же день не выстригся под гребенку. В данном случае, надобно думать, что «белый паша» не прочь был популяричить немного между мусульманами своей выбритой головой и только выражение невольного изумления всех русских перед его выбритым черепом, видимо, его стесняло и раздражало.

Вскоре же по приезде начальника авангарда армии мы выступили по направлению к Чаталдже, где, по условию с турецким правительством, должны были остановиться.

Это были уже последние наши походы. И офицеры, и солдаты были рады перемирию и скорому, вероятно, заключению мира, о котором жены и семьи на далекой родине давно уже молили Бога; только мысль о возможности «оккупации» смущала несколько общую радость.

* * *

Что за чудесные развалины встретились здесь по дороге! Влево от нашего пути виден был холм с разбросанными по нем остатками построек — я свернул туда и очутился среди торчавших из земли витых колонн, капителей, баз и прочей прекрасной работы греческо-византийского периода, из чистого белого мрамора; с холма были видны, направо и налево, два моря. Пастух сидел на этом холме, как на подушке, набитой этими чудесными остатками былого величия края, и наблюдал за пасшимися кругом баранами; очевидно было, что никто никогда и не думал интересоваться здесь этими мраморами. К несчастью, и у нас оказалось мало сочувствия к ним; я говорил после Скалону, что недурно было бы взять несколько хороших образцов этой архитектуры и переслать в Россию, но получил ответ: «Где с этим возиться, не на чем перевозить». Вообще, по всему краю здесь разбросаны остатки древности, преимущественно византийского периода греческого величия; почти все мечети заключают в себе много материала, взятого из разрушенных церквей. Базы колонн в мечетях всегда не что иное, как перевернутые капители из храмов, часто удивительной работы, и со стороны входа всегда обитые, обтертые очищаемой о них обувью правоверных.

Встретился нам здесь чиновник телеграфного ведомства из Константинополя; он был послан осмотреть телеграфные проволоки, от исправности которых зависела теперь, в значительной степени, быстрота мирных переговоров. Струков пропустил его беспрепятственно, хотя с ним не было правильного вида.

* * *

Силиври, прелестное местечко, на самом морском берегу, в небольшом заливе. Ни одного болгарина или грека не вышло к нам навстречу — верный признак того, что в городе турецкие войска; так и было в действительности. Я ехал один, далеко впереди отряда. В улицах толпа народа и войска кавалерии — те самые молодцы, с которыми мы столкнулись под Чорлу: все так и уперлись в меня глазами: народ — с видимым сочувствием, которого, однако, не смел выражать, солдаты — враждебно. Меня провели в конак к Идеат-паше, командовавшему этим передовым отрядом кавалерии.

Представившись ему как секретарь русского генерала, я заявил о необходимости немедленно же очистить город для наших солдат. Он отвечал, что не получил еще приказания, но послал уже запрос и ждет ответа, причем выразил уверенность, что ему дадут возможность дожидаться этого ответа.

— Генерал согласится! вероятно, на самый короткий срок — не более.

Струков скоро подъехал, и я объяснил ему положение: очевидно, паша хитрил, хотел фактически установить границу между их и нашими войсками в Силиври, а не в Чаталдже. Струков потребовал немедленного очищения города.

— Да разве не можем мы вместе поместиться: вы займете один конец города, я — другой?..

— Нет, не можем, — отвечал Струков, начиная терять терпение, — и повторил свое требование.

— Да ваш секретарь дал нам право подождать здесь ответа.

— Нет, он говорил вам лишь о времени, необходимом для сбора к выходу.

— Но не можем же мы отступить, не получивши приказания.

— Так я вас заставляю!

— Не прикажете ли, ваше превосходительство, вызвать орудие? — обратился я к Струкову.

— Сейчас, подождите, может быть, он уберется и так.

Приказавши нашим войскам не занимать весь город, чтобы не войти в соприкосновение с турками, генерал прождал несколько минут, в продолжение которых мы выпили по чашке кофе, но, не получая никакого ответа и не видя приготовлений к выходу, так как войска их продолжали стоять на улице и глазеть на наших, спросил еще раз и решительно, очистят они город или нет?

— До получения ответа из Константинополя нельзя, — был ответ.

Струков вышел в прихожую и голосом, который сделал бы честь и не такой тщедушной груди, как его, закричал:

— Батарею сюда!

Несколько человек бросились исполнять приказание, послышалось:

— Батарею, батарею!

Что сделалось с Идеатом-пашей, как он засуетился!

— Сейчас придет ответ!

— Знать ничего не хочу! — отвечал Струков.

— Получен, получен ответ, сейчас выступим!

Действительно, турки сели на коней и выступили, а мы заняли конак, до нельзя загрязненный и полный насекомых. Смотрим, вечером опять является Идеат, в самом веселом настроении, очевидно, хочет уверить, что мы можем жить вблизи друг от друга, не ссорясь. Меня он дружески, как бы старинного знакомого, хлопнул по плечу, на что я, с своей стороны, ответил здоровеннейшим, приятельским же хлопком по его загорбку, зная, что на Востоке наружные формы, особенно при людях, считаются более, чем где-либо.

Струков и слышать не хотел о новых турецких хитростях.

— Из Константинополя получено-де приказание город очистить, но далее не отходить, так как по новому-де условию с нашей главной квартирою наши войска не должны двигаться далее Силиври.

— Мне лучше известно распоряжение главной квартиры, — отвечал генерал, — я пойду дальше, и если вы не отступите, атакую вас.

— Хорошо, атакуйте, ответственность за это несправедливое нападение будет на вас.

— После разберут, на ком ответственность; не была бы она, смотрите, на вас.

— Каким же образом на мне, когда у нас получены самые положительные приказания, не далее как сейчас; не хотите ли взглянуть на депешу?

— Нет надобности, мои приказания при мне, и я их исполню.

Насилу спровадили пашу, уверявшего в дружбе вообще турок к русским и его лично к нам, в несправедливости дальнейшего наступления и т.п. Так и представлялись мне польские и русские люди, съехавшиеся для переговоров о мире: одни ставят непременно условием уступку Смоленска, другие в ответ на это требуют отдачи всего вплоть до Варшавы, и, в конце концов, после многого потения, споров и криков до хрипоты, проводят черту, удовлетворительную для более сильной и настойчивой стороны.

Выступивши на другой день, увидали, что вместе с нами же, не ранее, выступили из-под города и турки; причем шли они так тихо, что нам поминутно приходилось останавливаться, утыкаясь в хвосты их лошадей. Струков, после нескольких замечаний, стал обходить турок, арьергард которых остался далеко позади нас, а когда и это не помогло, опять рассердился и приказал батарее нашей выехать на позиции. Турки зашевелились немного, но генерал не удовольствовался этим и въехавши на возвышенность около дороги, тем же, припасаемым им, очевидно, для самых экстренных случаев, громовым голосом, закричал:

— Марш-маршем!

Вся неприятельская кавалерия, большинство которой были арабы, вероятно, не поняла эту команду, но некоторые, должно быть, поняли и поскакали, за ними встrepенулись и поскакали все — можно сказать, была потеха! Точно церемониальным маршем мимо русского генерала скакали арабы, с развевающимися бурнусами, шелковыми платками с кисточками и длиннейшими своими копьями; седла некоторых всадников, не рассчитывавших, может быть, на такую бешеную скачку, свернулись — арабы кубарем через голову, а потом, как кошки, галопом на своих на двоих, вдогонку за лошадьми, и все это при дружном искреннем смехе наших солдатиков, буквально державшихся за бока от хохота!

На привале в этот день мы наткнулись опять на эту кавалерию. На подмогу ей явился полковник турецкого генерального штаба от Мухтара-паши, командовавшего остатками турецкой армии. Надобно думать, что полковник переговорил уже с оказавшимися тут же австрийским и американским военными агентами, при нашей главной квартире; вероятно, он разжалобил и уговорил их помочь ему, так как при входе в дом, где Струков его принял, этот офицер (воспитывавшийся в Англии) довольно резко спросил:

— Кто здесь говорить по-английски, я не говорю по-французски?

— Я готов перевести, что вам угодно, — ответил американец Грин.

— Very well, — обрадовался турок и начал было разводить туры на колесах, когда Струков остановил его.

— Позвольте, позвольте, я не понимаю по-английски, не угодно ли вам прислать офицера, который говорит по-французски или по-немецки, или отправьтесь к генералу Скобелеву.

Рассуждений и возражений не допускалось никаких.

Скобелев решил послать офицера к «газы» (непобедимому) Мухтару, а мы тем временем передвинулись к Чаталдже, где стало понятным старание турок задержать нас возможно дольше и дальше от этих мест: на линии фортов, составлявших знаменитые Чекменджинские укрепления, прикрывавших Константинополь с сухого пути, деятельно работали; на некоторых холмах даже и земляные работы были не готовы; другие же смотрели грозно издали, но на них не было еще орудий. Видно, турки, под влиянием своих временных успехов в Европе и Азии, поздно взялись за оборону подступов к столице, или, вернее, к столицам, так как оба города — Адрианополь и Константинополь — в последнюю минуту оказались незащищенными.

Я ездил с несколькими драгунами по дороге к фортам, верст за пять от Чаталджи, посмотреть местность и вынес убеждение, что проход по этой местности в это время года крайне затруднителен для лошадей, для орудий же — почти невозможен: вся дорога представляла одну сплошную трясиину, в которой завязнуть и умереть без покаяния, казалось, было самым простым, естественным делом.

Полковник наш, посланный Скобелевым к Мухтару-паше, возвратился, оговоривши, что следовало. Я пришел в ужас от рассказанного бывшими при нем офицерами: якобы для шутки Мухтар, в разговоре с нашим полковником, тронул его за бороду, одна половинка которой разнилась цветом волос от другой, и умный, храбрый, утонченно вежливый приятель наш не только не дал лизуна непобедимому Мухтару, но и не сморгнул — у меня вчуже руки чесались! По мусульманскому обычаю

нет большей обиды, как дернуть за бороду противника, — воображаю, как турки потешались рассказами об этом.

Скобелев приехал немного пасмурный, грустный. Когда мы остались одни, он спросил меня:

— Что вы думаете, Василий Васильевич, кончились военные действия?

— Кончились, — отвечал я.

— Вы думаете, будет заключен мир?

— Думаю, что будет заключен мир, и немедленно же утекаю.

— Подождите, может быть еще не заключат мира, пойдём на Константинополь.

— Нет! Заключат мир; уеду писать картины.

— Счастливец вы!

Михаил Дмитриевич рассказывал мне и Струкову за завтраком, что когда отряд нашей гвардейской кавалерии под начальством генерала Э. входил в Родосто, жители под разными предлогами задержали его некоторое время вне города, и когда, наконец, он вошел, — судно с городской казной, состоявшей из очень значительной суммы, вышло в море, к Константинополю. Надобно сказать, что я неоднократно просил Струкова послать меня хоть с небольшим отрядом в богатейший Родосто, налететь, взять контрибуцию в миллион рублей и уйти назад. Струкову нравилась эта мысль, но, как человек осторожный, он боялся с одной стороны послать слишком слабый отряд, с другой — обессилить наше движение отделением более или менее значительного отряда. Потом, когда сделалось официальное известно о заключении перемирия, пришлось оставить попечение об этом. За то, услышавши о том, что в казне Родосто, действительно, хранились большие деньги, я просто подскочил на стуле:

— Скажите, Александр Петрович, — вскричал я, — не советовал ли я вам набежать на Родосто и сорвать с них здоровый выкуп!?

Скобелев засмеялся:

— Вы настоящий воин, Василий Васильевич!

Я возвратился в Адрианополь, где главнокомандующий чрезвычайно любезно принял меня:

— Спасибо, молодец, на все руки мастер!

— Рад стараться.

Я объяснил его высочеству, между прочим, соображения, понудившие нас дозволить повернуть назад части турецких переселенцев: нет сомнения, что турки не найдут себе места в Константинополе и принуждены будут возвратиться голодные, разоренные; гораздо же лучше принять теперь зажиточный народ со всем его добром, чем после толпу нищих! Бывший при этом дипломатический чиновник (теперешний посол) Нелидов не принял этой ? — повторил он несколько раз. Последствия, однако, совершенно оправдали нас: все турки, уцелевшие от голода и болезней, в силу трактата, воротились на старые места, но предварительно все распродавши и в конец обнищавши в константинопольских предместьях и улицах, где толпы этого недавно еще исправного рабочего народа долго были пугалом населения.

* * *

Главная квартира в Адрианополе была очень оживлена теперь: масса народа понаехала туда словно на пир, кто (немного поздновато!) отличаться, кто дела делать, для чего было самое время; военные агенты также были все в сборе, так что прежнее веселое, но скромное общество походило теперь на шумный двор; как ни громаден был стол в зале конака, места приходилось брать чуть не с бою. Улицы города представляли сплошной базар: от генерала Игнатьева, пожимавшего руки направо и налево,

сумевшего и здесь сделаться популярным, до последнего прапорщика, нашедшего, наконец, канал для спуска накопившихся рублей, — все жило и праздновало победу.

Мне понадобилось съездить в Чорлу, чтобы сделать там несколько набросков, которых, за разными прежними малохудожественными занятиями, не удалось исполнить во время похода. Железная дорога была в наших руках и желавшим не возбранялось переезжать по ней. И в Чорлу все оказалось порядочно изменившимся: в кабачке на станции была такая масса народа, что я отчаялся было что-либо получить, когда неожиданно хозяин разлетелся со всевозможными знаками почтения и благодарности: оказалось, как я и вспомнил, что он приходил к нам, во время нашего всемогущества, просить защиты от баши бузуков, хотевших якобы увести его коров и баранов, и, с дозволения Струкова, я дал ему драгуна, для прикрытия отступления стада; очень может быть, что с этой охраной он не только защитился, но и прихватил себе малую толику лишнего из многого множества стад, оставшихся за уходом турок без владельцев; если так, то понятно, что он чувствовал потребность выразить свою благодарность и лучшим куском подошвы, именуемой бифштеком, и лучшей красной бурдой доморощенного «лафита».

Поезда назад не было, и так как правильное сообщение еще не наладилось, то даже и не знали, когда таковой будет, пришлось приказать, чтобы был поезд; я приказал, и, действительно, поезд снарядили. При отходе со станции вышел такой казус: мы уже двинулись, когда подбежал запыхавшийся болгарин, махавший каким-то письмом и кричавший: «Князь, князь, Адрианополь, Рейс!..» Я знал Рейса, немецкого посла в Константинополе, и понял, что болгарин вез что-либо от этого дипломата в нашу главную квартиру. Я велел остановить поезд, посадил болгарина и взял от него письмо, запретивши ему говорить что-либо с кем бы то ни было, так как железнодорожные служащие, преимущественно австрийцы, уже, видимо, заинтересовались тем, что слышали. Когда мы поздно вечером приехали в Адрианополь, я велел болгарину идти в конак, а письмо передал генералу Игнатьеву, как раз входившему с Нелидовым во двор; подошедшего вскоре болгарина рекомендовал попечению Скалона, накормившего, напоившего его и представившего главнокомандующему.

Письмо оказалось большой важности: князь Рейс уведомлял конфиденциально нашу главную квартиру о вступлении в пролив английских броненосцев... У нас немедленно же решено было движение вперед к Сан-Стефано, а если англичане не остановятся, то и к Константинополю...

* * *

Приятели мои Струков и Кладищев все выпытывали, какую награду, какой орден я желаю получить... — Конечно, никакого, — был мой ответ.

Когда я собрался ехать на следующий день, милейший Скалон передал, что его высочество желает, чтоб я принял «на память» «золотую шпагу», но я поблагодарил и задал тягу... на железнодорожную станцию.

Honny soit qui mal y pense.

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ СКОБЕЛЕВ

Скобелев был годом моложе меня. Он перешел на службу в Туркестан в бытность мою там, но в каком именно месяце, не помню. Много слышавши об его известном деде, я ничего не знал ни о его отце, ни о нем самом, пока нестряслась над ним история, наделавшая в свое время немало шума в кругу офицеров Туркестанского края. Как теперь помню первое знакомство с ним в это время, в 1870 году, в единственном ресторане города Ташкента: некто Жирардо, очень милый француз, учивший детей тогдашнего генерал-губернатора Кауфмана, подвел ко мне юного, стройного гусарского штаб-ротмистра.

— Позвольте вам представить моего бывшего воспитанника Скобелева.

Я пожал руку офицера, почтительно поклонившегося и в самых любезных выражениях рассыпавшегося в чувствах уважения и прочем.

Фигура юного Скобелева была так привлекательна, что нельзя было отнестись к нему без симпатии, несмотря на то, что история, висевшая на его шее, была самого некрасивого свойства. Дело в том, что, возвратившись из рекогносцировки по бухарской границе, он донес о разбитых, преследованных и убитых бухарских разбойниках, которых в действительности не существовало, как оказалось, и которые были им просто сочинены, для реляции.

Дело разыгралось бы, пожалуй, «вничью», как множество подобных дутых донесений, если бы не замешалась личная месть: Скобелев в запальчивости ударил одного из бывших с ним уральских казаков и хотя после представил его в урядники, но уралец, «дворянин», как они себя величают, на этом не помирился, а стал громко говорить, что «офицер сочинил, от начала до конца, всю историю о разбойниках, вовсе и не виденных ими».

Вышел великий скандал, не только для высших, но и для низших слоев общества офицеров; выразителем первых явился генерал-губернатор, вторых — двое офицеров из золотой молодежи Ташкента: кирасир Г., сын известного генерала Г. (окончившего жизнь в Варшаве всем известной трагической смертью), и П., адъютант генерал-губернатора — оба вызвали Скобелева на дуэль за вранье и недостойное офицера поведение.

Я готовился в это время ехать в Кокан и, живя временно в гостинице, видел все совещания и приготовления к поединкам, разумеется, не имея права вмешиваться в них; мне жаль было юношу, увлекшегося в погоне за отличием до такой некрасивой проделки, и я говорил П.:

— Да перестаньте вы конспирировать, пощадите малого-то!

П. рассказывал после, что Скобелев держал себя с большим достоинством во время дуэли, так что по окончании ее они пожали друг другу руки. Г. получил рану, кажется, бывшую впоследствии причиной смерти этого милого, симпатичного юноши. Принуждены были, как говорю, отозваться на этот шум и сверху: генерал-губернатор, он же и командующий войсками Туркестанского края, экстренно созвал офицеров в большой зал своего дома и сурово, жестоко распек Скобелева.

«Вы наврали, вы налгали, вы осрамили себя», — громко, рассчитано жестоко сказал ему генерал Кауфман в зале полной офицеров...

После этого Скобелев должен был оставить Туркестан, где его положение сделалось со всех сторон невыносимо. Перед отъездом он был до того жалок, что, признаюсь, я не утерпел, чтобы не сказать ему:

— Да плюньте вы, все перемелется...

Десять лет спустя этот осрамленный, ошельмованный штаб-ротмистр был генералом от инфантерии, командиром передовой, отдельно оперировавшей армии, и — необходимо сейчас же добавить — отличия свои взял не по протекции, а с бою, грудью; только один раз, не утерпевши, сделал опять промах, — не такой, правда, большой, как в 1870 году, но, однако, и не малый: повел солдат на штурм города Хивы с одной стороны, в то самое время, как с другой городская депутация выходила с хлебом-солью, для выражения командующему войсками полной и безусловной покорности. Генерал Кауфман рассказывал мне, что, зная уже о сдаче города и готовясь въехать в него, он был поражен и возмущен, услышав ружейные залпы и крики «ура», — словом, настоящий штурм, затеянный Скобелевым и Ш...³²

³² Оставляю в стороне, как дурачество, поездку Скобелева в Испанию, где он дрался за дело претендента Дон-Карлоса. — *Примеч. авт.*

Справедливо сказать, что в этом же самом Хивинском походе Скобелев, действительно, отличился, выдвинулся из ряда товарищей дерзки-молодецким поступком. Как ни посмеивались потом П. и другие над тем, что он все-таки не докончил, не довел до конца предпринятого, я считаю, что Михаил Дмитриевич выкинул такую лихую штуку, за которую Георгиевский крест был только справедливой наградой. Не верю, чтобы, как утверждали досужие люди, он хлопотал только об этом кресте, который ему не давал покоя и статус которого, по его собственным словам, он знал наизусть еще с юных лет. Скобелев был всегда лихой офицер, и я думаю, что в поступке его было немало «искусства для искусства».

Вот что он сделал: из трех отрядов, посланных на Хиву, один кавказский, под начальством полковника Маркозова, не дошел до места назначения — слишком торопясь придти раньше других, они измучили лошадей и заморили вьючных животных, так что в конце концов должны были, во избежание гибели в степи, воротиться, не дойдя до Хивы 70 верст. Это пространство в 70 верст осталось, таким образом, не расследованным, а для пополнения пробела в сведениях имелось в виду снарядить небольшой отряд из пехоты, кавалерии и артиллерии.

Скобелев вызвался сделать одну эту поездку, та же как и глазомерную съемку всего пути — конечно он знал, что, по статуту Георгиевского креста, он должен получить его за это дело...

Генерал Кауфман согласился.

Переодевшись в туркменское платье, Михаил Дмитриевич поехал с двумя джигитами и, действительно, исследовал путь и набросил расспросную карту, не дойдя лишь 15-17 верст до тех колодезев, от которых кавказцы повернули назад и у которых в это время, по сведениям, был расположен сильный туркменский отряд в 15 тысяч человек.

— Неужели вы никого не встретили на пути, кто бы признал в вас русского? — спрашивал я Скобелева.

— Конечно, встречался народ, но я всегда высылал вперед моих джигитов; они заводили разговоры о том, о сем, главным образом, разумеется, об урусах, рассказывали при нужде и небылицы, чем отвлекали их внимание, а я тем временем проскальзывал вперед...

Действительно, за эту рекогносцировку Михаил Дмитриевич прямо по статуту получил давно желанный им Георгиевский крест. Генерал Кауфман рассказывал мне в 1874 году в Петербурге, что, поздравляя Скобелева с крестом, он прибавил:

— Вы исправили в моих глазах ваши прежние ошибки, но уважения моего еще не заслужили.

Жестко!

Это уважение почтенного Константина Петровича Кауфмана Скобелев заслужил не далее как в следующем же Коканском походе, во время которого он окончательно выдвинулся как боевой офицер, отлично подготовленный, разумный, храбрый и предприимчивый.

Будучи в Кокане во время вспыхнувшего там мятежа против хана, он, начальствуя конвоем русской миссии, отступил от города Кокана к русской границе, охраняя русских чиновников и самого хана со свитой, не потеряв ни одного человека. Одной неловкости, одного выстрела со стороны горсти отступавших было бы достаточно, чтобы вызвать резню; Скобелев понимал, что десятки тысяч наступающих со всех сторон узбеков, конечно, раздавили бы его ничтожную силу, если бы дело дошло до кровопролития, почему предпочел действовать на неприятеля страхом, импонировать дисциплиной и совершил отступление с полным успехом. Конечно, не трусость, как некоторые говорили, и недостаток охоты подраться побудили его к этому миролюбию — открывшаяся затем кампания против

восставшего Кокана служит тому лучшим доказательством.

Скобелев, занимая в этом походе должность начальника кавалерии, попевал всюду и рубил, рубил, рубил с азартом, с упоением, рубил без усталости, без конца...

В битве под Махрамом он сделал такое кровопускание коканцам, что К. П. Кауфман, любивший иногда щеголять словами, выразился в донесении государю: «Дело сделано чисто!»

Во время этой кампании Скобелев повторил маневр, прославивший многих кавалеристов, включая израильтянина Гелеона и великого могола Индии, Акбара: известясь о том, что поблизости расположилось большое скопище коканской конницы, рассчитывавшей ударить на нас врасплох, он с отборной сотней оренбургских казаков, под начальством лихого офицера Машина, подкрался ночью к неприятельскому стану и, без факелов и криков «меч Бога и Кауфмана!», с одним «ура», так налетал на крепко спавших неприятелей, что они в панике давя и убивая друг друга, разбежались во все стороны, не проявивши ни малейшего сопротивления.

По словам Скобелева, на другой день было собрано на поле битвы 2000 чалм. Даже если и 1000 только, то дело сделано было недурно, т. е. опять-таки «чисто».

Мне понравилась в рассказе Скобелева³³ об этой лихой атаке черта искренности, нечасто у него встречающаяся: он откровенно сознавался, что в темноте потерял Машина из виду и только услышал шум пронесшейся сотни, как бы шум вихря, так что попал на поле битвы, уже когда все дрогнуло и побежало. Это сознание было, очевидно, следствием той относительной военной честности, которую М. Д. стал в последнее время все более и более усваивать. Конечно, и под Геок-Тепе цифры сил и потерь неприятеля не свободны еще от преувеличений, но уже переход к ним от бухарских разбойников разителен; к тому же, надо сказать, что военные всех народов и времен прибавляли, прибавляют и будут прибавлять, т. е. подвирали, подвирают и будут подвирать. По пословице: «сухая ложка рот дерет», и офицеры, и солдаты любят начальника, который прикрашивает режиссерские кадры, потому что тогда выходит больше наград и отличий, и, в конце концов, вряд ли кто из военных будет вправе в этом отношении бросить камнем в Скобелева последних годов, т. е. Скобелева, строгим присмотром за собой значительно исправившегося.

Можно сказать, что завоевание Кокана совершено столько же Кауфманом, сколько и Скобелевым, который остался потом в области военным губернатором ее.

Не мешает прибавить, что К. П. Кауфман был после в самых лучших отношениях со Скобелевым, и письма покойного начальника Туркестанского края, полученные Михаилом Дмитриевичем во время Турецкой кампании — некоторые мне доводилось читать, дышали все искренним расположением и дружбой.

Мимоходом сказать, одно из этих писем, написанное до начала наших плевненских неудач, было чисто пророческим: Кауфман находил линию наших сил слишком растянутой, не довольно сильной, и высказывал опасение за необеспеченность флангов, особенно правого, который вскоре действительно и наткнулся на Плевну.

* * *

После русско-турецкой войны Скобелев явился генерал-майором, уже с Георгием на шее, и хотя вначале над туркестанской его славой смеялись, говорили, что он еще должен заслужить эти кресты, что, пожалуй, и роту солдат опасно доверить этому мальчишке, он взял свое и кончил войну с репутацией первого боевого офицера, храброго из храбрых, народного героя-воина!

Помню, как неловко было положение его до перехода наших войск через Дунай и некоторое время

³³ Рассказывал он мне, Струкову, Языкову и Васильчикову, во время последней Турецкой кампании, когда мы стояли в городе Чор-лу— *Примеч. авт.*

после того. Как мучился он тем, что оставил Туркестан и снова хотел проситься туда. Сколько раз слушал я его горькие жалобы, утешал и обнадеживал, советовал подождать. «Буду ждать, Василий Васильевич — я ждать умею», — отвечал он.

Посланный, в явную немилость, начальником штаба к своему отцу, Дмитрию Ивановичу Скобелеву, командовавшему казачьей дивизией, он спустил всю работу очень разумному офицеру, капитану генерального штаба Сахарову, а сам проводил большую часть времени или в составлении разных проектов военных действий, чем немало надоедал многим, или пребывал в Бухаресте, где веселился потоплику, поколику позволяли ему скудные средства, доставляемые расчетливым отцом, и на деньги, перехватываемые направо и налево с отдачей и без отдачи — больше последнее.

И то сказать, генерал-майору, бывшему начальником огромной области и командовавшему войсками в ней, командировать над штабом дивизии было далеко не привлекательно; необходимость же как бы оправдывать ношение Георгия на шее пока только словами заставляла М. Д. искать популярности в сближении решительно со всеми — с кем только он не был *на ты*!

От бездействия Скобелев выкинул было опять штуку, которая могла стоить многих сотен жизни, если бы не здравый смысл казачьих командиров. Он стал уверять своего отца в возможности переправить казачьи полки через Дунай вплавь. Положим, цель была резонная: кавалерия на той стороне была крайне нужна, но ведь река-то была в разливе — около трех верст в ширину!

Осторожный Дмитрий Иванович Скобелев, «паша», как его называли у нас, собрал на совет толковых командиров, прося высказаться по этому вопросу. Приятель мой Кухаренко, командир Кубанского полка, первый объявил со своим обычным заиканием: «Не-е-е-возмо-о-ожно! Все перето-о-о- нем!»

Бравый Левис, командир владикавказцев, сказал, что «попробовать можно», но, вероятно, большая часть людей перетонет. В том же смысле высказались Орлов и Панкратьев.

Тогда Михаил Скобелев вызвал охотников — явилось несколько офицеров и казаков. Все воротились или только окунувшись вглубь, или проплывши около полверсты до настоящего левого берега Дуная, начавшего показываться из воды и образовавшего в это время длинный островок.

Михаил Дмитриевич один поплыл далее, хорошо понимая, что кому другому, а ему повернуть назад немислимо — засмеют.

Скобелев-отец все время стоял на берегу и, пока голос его мог быть слышен, кричал: «Воротись, Миша, утонешь! Миша, воротись!» Но тот не послушал, не вернулся и почти доплыл до противоположного берега, недалеко от которого его, уже совсем измучившегося, приняла лодка: лошадь же, освободившись от всадника, сначала державшегося за гриву, а потом за хвост, благополучно добралась, хотя лошадь эта была не из особенно замечательных ни по силе, ни по красоте.

Нет сомнения, что казаки на своих тяжелых пузатых лошаденках не отделались бы так благополучно и, по всей вероятности, как говорил Кухаренко «пе-р-е-е-тону-ули бы».

Для Скобелева лично этот опыт переправы был не первый — он делал его, хотя и не в таком крупном, рискованном виде, и прежде и после.

Как я слышал, незадолго перед смертью, управляя маневрами своего корпуса, он приказал одному кавалерийскому полку переправиться через реку.

Люди замялись, полковой командир позволил себе выразить боязнь — «Не перетонули бы!» Тогда Скобелев взял из строя первую попавшуюся лошадь, сел на нее и, как та ни бросалась, ни фыркала, заставил ее переплыть на тот берег и назад.

— Вы видите, братцы, как это делается, — сказал он людям, — теперь сделайте то же самое.

Полк переплыл туда, переплыл обратно и не потерял ни людей, ни лошадей. Правда, что река была не в три версты шириной.

* * *

Перед переправой за Дунай Скобелев-отец лишен был командования дивизией, так что сын остался решительно ни при чем, между небом и землей. Во время переправы он, на свой страх, пристроился к генералу Драгомирову как ординарец и тут буквально поразил всех своим хладнокровием и бесстрашием; гуляя в огне, как на бульваре, разнося приказаний, присматривая за ходом битвы, ободряя молодых офицеров и солдат, он вел себя поистине блистательно, как вполне опытный боевой офицер, и это по отзыву самого генерала Драгомирова, репутация которого у нас была и есть очень высока. Умный, правдивый генерал этот сознавался, что успехом переправы много был обязан М. Д., ободрившему его в то время, когда он начинал уже сомневаться в успехе.

Какой же нагоняй был потом Скобелеву от высшего начальства за то, что он суется туда, «куда его не спрашивают»...

Потом ему приказано было сделать рекогносцировку в сторону Рушука, но так как не дали в его распоряжение никаких сил, то он уклонился от доли простого «соглядатая обетованной земли» и за это обрушил на себя целую бурю гнева...

Во время второй атаки на Плевну Скобелеву решились доверить, кроме казаков, еще батальон пехоты, и с этим батальоном он положительно спас наши отбитые, разбитые войска: князь Шаховской официально донес, как мне говорили, что корпус его отошел сравнительно благополучно только благодаря своевременной, энергической диверсии, произведенной Скобелевым.

С горстью людей он дошел до самой Плевны и крепко нажал на турок, никак не полагавших, что они имеют дело лишь с несколькими сотнями людей, никем не поддерживаемых.

Отвлекая на себя внимание неприятеля, М. Д., конечно, отступил, когда расстроенные полки корпуса Шаховского отошли.

Здесь кстати привести рыцарскую черту характера Скобелева: он призвал покойного брата моего Сергея, которому обыкновенно доверял самые опасные поручения, и сказал: «Уберите всех раненых; я не отступлю, пока не получу от вас извещения, что все подобраны». Уже поздно было, когда брат мой с одной стороны и сотник Ш... с другой явились к Скобелеву и донесли, что «ни одного раненого не осталось на поле битвы».

— Я вам верю, — ответил Скобелев и только тогда приказал отступать.

Брат мой, убитый потом 30 августа 1877 г., состоял при М. Д. волонтером; он был с ним во все время этой дерзкой атаки, и Скобелев рассказывал, что, когда под ним убили лошадь, юный художник соскочил с седла и расшаркнулся: «Ваше превосходительство, не угодно ли взять мою?»

— Смотрю, — говорит Скобелев, — дрянная гнедая с...ва! — Не хочу, нет ли белой?

Однако пули и гранаты сыпались в таком количестве, а турки напирали так сильно, что пришлось-таки сесть и на гнедую с...ву, которая, в конце концов, вынесла из огня не хуже белой.

* * *

Битва под Ловчей была первой, в которой Михаил Скобелев, 34-летний генерал, самостоятельно распоряжался отрядом в 20 тысяч человек. Он был под началом князя Имеретинского, благоразумного генерала, не стеснявшего Скобелева в его распоряжениях и совершенно вверившего ему все силы.

Когда форты, которые, пожалуй, никто другой из русских генералов не осилил бы, были-таки взяты после самого кровопролитного боя, князь Имеретинский в своем донесении главнокомандующему назвал Скобелева «героем дня».

Справедливо прибавить, что у М. Д. был, в свою очередь, неоцененный помощник в лице умницы

офицера, капитана Куропаткина, почти такого же неустрашимого, как он сам, с прибавкой хладнокровия.

Для меня лично — может быть, я и ошибаюсь — нет сомнения в том, что Скобелев взял бы Плевну 30-го августа. Но что было делать! Когда с ничтожными сравнительно силами он занял, после трехдневной битвы, турецкий редут, буквально висевший над городом и орудия которого до того беспокоили Плевну, что Осман-паша решил отступить, если не удастся отобрать его, когда М. Д. умолял о посылке подкреплений — ему не дали их, а прислали лишь небольшую поддержку из одного разбитого накануне полка! Разумеется, Осман-паша, никем не беспокоемый с других сторон, с огромными силами напал на бедного «белого» генерала, в продолжение многих дней без устали и победоносно водившего солдат на штурмы, разбил, выбил и прогнал его даже за старые позиции...

Офицеры генерального штаба говорили, что Скобелев занял не тот редут, который следовало, что его во всяком случае выжили бы оттуда огнем с соседнего более возвышенного и более сильного укрепления, но я не вижу беды в том, что Скобелев схватил покамест меньший редут — вовремя подкрепленный, он взял бы и соседний...

...По печальной необходимости разыскать тело моего убитого брата, я проезжал 31 августа местами расположения наших войск. На другой день третьей атаки плевенских редутов, узнав от адъютанта главнокомандующего Дерфельдена, воротившегося с левого фланга, что один брат мой ранен, другой убит — сам еще безногий — я бросился в отряд Скобелева, чтобы привезти первого и отыскать, коли возможно, тело второго.

Проезжая мимо всех наших позиций, я видел массу войска — ружья в козлы, прислушивавшегося к трескотне на левом фланге...

Нечасто случалось мне слушать такую непрерывную дробь выстрелов, приправленных отчаянными воплями: «Ура, ура... Алла! Алла! Алла...».

Приехав на Зеленые горы, я нашел князя Имеретинского с Паренцовым, Грековым и несколькими другими офицерами, лежавшими, сидевшими и прогуливавшимися. Генерал, как раз закусывавши, предложил мне остаток бывшей перед ним вареной курицы и стакан красного вина, причем спросил, не знаю ли я, намерены им сегодня помогать или нет?

Я не отказался съесть курицу и выпить вино, но на вопрос мог только ответить, что в главной квартире о распоряжении помогать им не слышал, да и по дороге хотя совершенно готового войска видел немало — кажется, расположения идти к ним на помощь не заметил.

— Ну, так нам будет плохо, очень плохо! — сказал генерал.

У Скобелева в это время было что-то невозможное, слышалось только: р, р, р, р, р, р, р, р, р!!!

За душу щемила меня эта полная беспомощность бравого левого фланга, точно забытого, брошенного, под впечатлением вчерашних неудач и потерь. Страдая сильно от раны, еще не затянувшейся, я ездил в колясочке, нанятой в Бухаресте, и поэтому двигался только по дорогам, т. е. медленно, иначе, конечно, я бросился бы к главнокомандующему, может быть, и не знавшему об истинном положении дела...

Я настаиваю — как многим ни покажется смело и безавторитетно мое настаивание — на том, что подкрепленный Скобелев взял бы и соседний редут, после чего туркам не оставалось бы ничего иного, как очистить город, расположенный прямо под нашими выстрелами.

Три с половиной месяца спустя, когда Плевна пала, я ездил со Скобелевым на панихиду, заказанную им по защитникам несчастного «Скобелевского редута». Тяжелые воспоминания передал мне тогда Михаил Дмитриевич. Чтобы легче было идти на штурм, взбираться на высоты, солдаты побросали шанцевые инструменты, так что, когда пришлось после рыть траншею со стороны наступающих турок, они пустили в дело штыки и свои пятерни: конечно, не успели вырыть и

ничтожного прикрытия, как турки набежали, навалились и кучку наших храбрых, сжавшихся для последней защиты за траверзом, в углу редута, подняли на штыки.

Указывая мне эту канавку, рытую пальцами, Скобелев буквально залился слезами и потом во время панихиды опять горько плакал. Признаюсь, всплакнул и я вместе с большей частью присутствовавших.

В жар, в лихорадку бросало меня, когда я смотрел на все это и когда писал потом мои картины: слезы набегают и теперь, когда вспоминаю эти сцены, а умные люди уверяют, что я «холодным умом сочиняю небылицы»... Подожду и искренне порадуюсь, когда другой даст более правдивые картины великой несправедливости, именуемой войной.

* * *

В конце 1878 года, в Петербурге, брат мой как-то пришел сказать, что Скобелев очень, очень просит прийти к нему, — что-то нужное.

Прихожу. — Что такое?

— Очень, очень нужно, увидите!

Затворяет двери кабинета и таинственно:

— Дайте мне дружеский совет, Василий Васильевич, вот в чем дело: князь болгарский (Батенберг), предлагает мне пойти к нему военным министром; он дает слово, что как только поставит солдат на ноги, не позже чем через два года, затеет драку с турками, втянет Россию, будет снова большая война — принять или не принять?

Я расхохотался. — Признайтесь, — говорю, — что вы равнодушны к белому перу, что болгарские генералы носят на шапках, вам оно было бы к лицу!

— Черт знает, что вы говорите! Я у вас серьезно спрашиваю совета, а вы смеетесь, толкуете о каком-то пере — ведь это не шутка.

— Знаю, что не шутка, — отвечал я и серьезно напал на него за безнравственную легкость, с которой они с каким-то там князем болгарским рассчитывают втянуть Россию в новую войну.

— Что Батенберг это затевает, оно понятно: он авантюрист, которому нечего терять; но что вы, Скобелев, такими страшными усилиями добившийся теперешнего вашего положения, поддаетесь на эту интригу, это мне непонятно. Плюньте на это предложение, бросьте и думать о нем!

— Да что же делать, ведь я уже дал почти свое согласие!

— Откажитесь под каким бы то ни было предлогом, скажите, что вас не отпускает начальство...

— Он обещал говорить об этом с государем...

— Ну вот и попросите, чтобы государь отказал ему.

В конце концов Батенбергу было сказано сверху, что Скобелев нужен здесь; на этом дело кончилось. Военным министром в Болгарию был назначен другой генерал.

Что мне случалось слышать от Скобелева в дружеских беседах, то теперь, конечно, не приходится рассказывать. Довольно заметить, что он был сторонником развития России и движения ее вперед, а не назад... повторяю, что распространяться об этом неудобно.

* * *

Скобелев очень много занимался, много читал, еще более писал. Писал кудряво, не совсем кругло и складно, но весьма убедительно. Кладищев, бывший начальником наградного отделения во время турецкой кампании, говорил мне, что нет возможности отказать в награде по представлению Скобелева — так наглядно излагал он заслуги своих подчиненных и так хорошо подгонял их под статуи орденов, которые отлично знал.

Записки, поданные Михаилом Дмитриевичем во время этой войны главнокомандующему о положении офицеров и солдат и вероятной причине наших временных неудач, полны наблюдательности, верных, метких замечаний. Живя вместе со Скобелевым в Плевне, я читал некоторые из этих записок, по словам его, очень не понравившихся.

Скобелев прекрасно владел французским, немецким и английским языками и литературу этих стран, в особенности военную, знал отлично. Иногда вдруг обратится со словами:

— А помните, Василий Васильевич, выражение Наполеона I?

В середине Шейновского боя, например, он таким образом цитировал что-то из Наполеона и, не желая обескураживать его, я ответил:

— Да, помню что-то в этом роде.

Но когда он вскоре опять спросил, помню ли я, что Наполеон сказал перед такой-то атакой, я уже положительно ответил:

— Не помню, не знаю — Бог с ним, с Наполеоном!

Надобно сказать, что он особенно высоко ценил военный талант Наполеона I, а из современных — Мольтке, который, со своей стороны, по-видимому, был равнодушен к юному, бурному, многоталантливому собрату по оружию; по крайней мере, когда я говорил с Мольтке о Скобелеве после смерти последнего, в голосе «великого молчальника» слышалась нежная, отеческая нота, которой я не ожидал от прусского генерала-истребителя.

О большинстве наших деятелей во время Турецкой войны Скобелев отзывался неважно — по меньшей мере.

Скобелев очень любил меняться Георгиевскими крестами: это — род военного братства, практикуемого обыкновенно с выбором, им же — направо и налево — со всеми. Когда он приехал к армии, в Румынии еще, то предложил мне поменяться крестиками, я согласился, но с тем, чтобы сделать это после первого дела, в котором оба будем участвовать. Много спустя, кажется в Плевне, мы разменялись-таки; но так как на другой же или на третий день он уже решил опять с кем-то побрататься, то я вытербил мой крестик назад, под предлогом, что он мне дорог, как подаренный Кауфманом. Всученный им мне был прескверный — казенный, а мой прекрасный, хорошей эмали, чуть ли не «из французского магазина»³⁴.

Последнее время, впрочем, он перестал практиковать это военное братство со всеми, стал более ценить себя.

Надобно сказать, что Скобелев положительно совершенствовал свой нравственный характер. Вот, например, образчик военной порядочности из его деятельности последних лет; на второй день после Шейновской битвы я застал его за письмом.

— Что это вы пишете?

— Извинительное послание: я при фронте распек бедного Х., как вижу, совершенно напрасно, поэтому хочу, чтобы мое извинение было так же гласно и публично, как и выговор...

Начальник большого отряда, извиняющийся перед неважным офицером (майор Владимирского полка), да еще письменно — это такой факт, который, конечно, не часто встретишь в какой бы то ни было армии.

³⁴ Когда генерал Кауфман был пожалован орденом св. Георгия 2-го класса, этот крест был подарен ему покойным великим князем Николаем Николаевичем и никто ничего не заметил неладного в кресте, очень изящно исполненном; но когда генерал представлялся Государю Александру II, Его Величество, зоркий на самые малейшие неправильности формы, заметил: «А ты крест, Кауфман, верно, купил во французском магазине, Георгий-то не в ту сторону скачет!» — *Примеч. авт.*

Отец Скобелева, Дмитрий Иванович, не проживал, а увеличивал свое состояние, и был скуповат, но сам М. Д. скупым никогда не был, — скорее, напротив, мог быть назван слишком тароватым. Однако в денежных делах, по славянской натуре, у него был всегда великий беспорядок, в особенности при жизни отца, когда ему никогда не хватало денег и когда забывать отдать небольшие долги случалось ему частенько-таки. При встречи с нищим он иногда приказывал кому-либо из бывших с ним молодых людей «дать золотой», и так как эти подачи обыкновенно забывались, то выходило, что встречи с нищими для бравых ординарцев его были страшнее столкновений с неприятелем.

Встречает раз Скобелев младшего брата моего на Невском проспекте.

— Верещагин, пойдем вместе стричься.

Тот очень доволен честью проделать эту операцию вместе с генералом, который ведет его к своему знакомому парикмахеру, что ни на есть фешенебельному. Около них суетятся, ухаживают, а они сидят себе рядком, шутят, смеются. При выходе, М. Д. спрашивает счет, старый и новый — оказывается 30 рублей.

— Верещагин, заплатите, пожалуйста.

Тот поморщился, но заплатил, да, конечно, только и видел свои денежки.

Помню, раз в Париже, в гарготке³⁵, где мы завтракали, Скобелев разменял ассигнацию в 1000 франков и, вероятно, по этому случаю вздумал оставить девушке, нам прислуживавшей, 100 франков! Лишь после самого энергичного вмешательства моего он положил только 20 франков. Зато же и целовал он руку этой молодой девушки, с наслаждением, со всех сторон!

Мне известно, что немало народу обращалось к Скобелеву за помощью и что он многим помогал. Затем говорили, что он хотел завещать капитал на устройство богадельни, но намерению этому не суждено было осуществиться, ему будто бы помешали...

Перед началом Туркменской экспедиции я застал раз Михаила Дмитриевича в беседе с полковником Гродековым; он прочил его себе тогда в начальники штаба, как хорошо изучившего местность, по которой и близ которой предстояло действовать нашим войскам. Гродеков — один из хороших знатоков Средней Азии, ибо ездил даже по Афганистану и смежным с ним степям. Они обсуждали права, которые им следовало выговорить для себя у министерства иностранных дел, на случай возможных переговоров с индийским правительством.

— Что такое, что такое? — сказал я Скобелеву. — О каких это переговорах с индийским правительством толкуете вы? Ничего этого вам не нужно...

— Как не нужно, а если мы дойдем...

— Ничего не нужно; вам надобно вздуть хорошенько туркмен, сломить их сопротивление и больше ничего. Хотите слышать мой совет? — Пожалуйста, — ответил Скобелев. — Потрудись, — обратился он к Гродекову, — вынуть записную книжку, занеси то, что он будет говорить, — наверное, все будет практично.

Гродеков благополучно здравствует, сколько я знаю, и, вероятно, имеет еще в своей памятной книжке заметку эту, весьма впрочем не длинную.

«Во-первых, вам нужны верблюды, во-вторых — верблюды и в-третьих, еще верблюды. Будут у вас верблюды, т. е. перевозочные средства — вы победите; не будут — вас прогонят, несмотря на всю

³⁵ Дешевая столовая.

вашу храбрость, как гоняли прежде посылаемые отряды — храбрость тут не поможет!.. Не жалейте денег на верблюдов; достаньте их, сколько нужно, во что бы то ни стало».

При этом я сообщил главную, по моему мнению, причину недоверия населения при поставке вьючных животных. В начале открывающейся кампании объявляют обыкновенно, что нужно столько-то вьючных животных, за такую-то цену. По окончании войны, во время которой, разумеется, большинство верблюдов падает, уплату оттягивают до тех пор, пока не удастся внушить старшинам и биям, т. е. почетным людям, что было бы актом хорошего подданничества ударить Ак-Падишаху челом суммой в 300 или 400 тысяч рублей, причитающуюся за верблюдов. Тем что? Верблюды не их, а бедных людей; они получают награды и отличия, а байгуши³⁶ плачут и уж, конечно, когда снова понадобится сгонять животных, уходят, откочевывают в степь или, силой заставленные, разбегаются при первом же удобном случае, с первых же привалов войск.

— Не доверяйте ни подрядов, ни денег интендантским чиновникам, — говорил я Скобелеву, — распоряжайтесь и платите деньги или сами вы, или через начальника штаба, чтоб они не прилипали к пальцам.

Мне приятно было слышать потом от брата моего, которого Скобелев взял по моей просьбе в поход, что именно так и было сделано, что далее осуждали Скобелева за излишнее бросание денег на верблюдов. Поставщик вьючных животных, лихой купец Громов (бывший приказчик архилихого Хлудова), призвавши владельцев верблюдов, объявил им, что к такому-то сроку ему нужно столько-то животных, и лишь только те начали чесать затылки, прибавил:

— Заплачено вам будет сейчас же по доставке, а покамест вот вам на чай, — при этом высыпал к их ногам мешок золота.

Через короткий срок верблюды были доставлены.

Для заказа и закупки провианта, как я слышал, ездил в Персию сам Гродеков. Встретившись с ним в самый день отъезда его из Петербурга, я, прощаясь, шепнул-таки еще на ухо:

— Не давайте воровать!

— Не дадим, будьте покойны, — ответил он. Возможно, что настояния мои были нелишни, небесполезны. Хвалю во всяком случае Скобелева и Гродекова за то, что они не отвергали бескорыстного, конечно, нелишнего совета и не отвечали: «Из-за чего вы-то стараетесь, какая вам-то польза», как ответила бы высокомерная бездарность.

* * *

Скобелев подарил мне на память свой боевой значок, бывший с ним в 22 сражениях, с приложением списка этих сражений, им самим обстоятельно составленного. Значок этот висит теперь у меня в мастерской. Это большой кусок двойной красной шелковой материи, с желтым шелковым же крестом, набитый на казацкую пику, порядочно истрепанный пулями и непогодами. Уехавши в последний свой туркменский поход, он хватился значка и просил или отдать старый, или прислать взамен новый.

Старый я положительно отказался отдать, но и новый не решался послать — вдруг не понравится и он отдаст его солдатам на портянки! Однако послал-таки наконец и очень нарядную штучку: с одной стороны индийская шаль, купленная мной в Кашмире, в самом Шринагуре, с другой — красная, атласная китайская материя, перерезанная голубым Андреевским крестом, буквами М. С. и годами 1875-1878. Я сам кроил и налаживал значок; жена моя шила его.

Узнаю от брата моего, бывшего ординарцем у Скобелева, что значок очень понравился всем: и

³⁶ Обедневшие слои населения у киргизов.

генерал, и мирные туркмены не наглядятся на него.

Но тут беда, неудача: из Геок-Тепе делают вылазку, убивают у нас много народа, захватывают много ружей, пушку, знамя!

Скобелев в отчаянии: отдай я ему старый значок — новый приносит несчастья!.. Я не отдаю. Новая вылазка, новый урон и потери с нашей стороны — новые требования отдать счастливый значок и взять назад несчастливый! — «Не отдам!» — отвечаю. Наконец, Скобелев берет штурмом Геок-Тепе, в свою очередь убивает, крошит множество народа, берет массу оружия и всякого добра, одним словом, торжествует, и значок мой снова входит в милость; снова и генерал, и туркмены любят нарядным подарком моим, теперь осеняющим гробницу Скобелева в селе Спасском, Рязанской губернии.

Очень интересна также, как рисующая Скобелева, присланная им мне в подарок карта — план атаки французами Оporto, препровожденный Михаилом Дмитриевичем начальнику инженеров под Геок-Тепе, для изучения и руководства. На полях им изложены мотивы, заставившие его приложить этот чертеж к руководству нашим войскам, а в правом углу надпись: «Глубокоуважаемому, сердцу русскому дорогому Василию Васильевичу к сведению, небезызвестной гордости моей. Скобелев. 4 августа 1881 года, село Спасское». Как человек, искренне любящий свое дело, он рассказывал мне потом о причине, побудившей прислать мне этот документ — желание показать приятелю, что он помнит примеры и уроки истории (о чем у нас был разговор ранее).

* * *

Суеверие этого милого, симпатичного человека было очень велико. Он верил в счастливые и несчастливые дни, счастливый встречи и предзнаменования. Он ни за что не стал бы сидеть за столом в числе тринадцати человек, не допустил бы трех свечей на столе, а просыпанную соль, перебежавших дорогу кошку и зайца считал всегда за дурное предзнаменование.

Он верил, что будет более невредим на белой, чем на другой масти лошади, хотя в то же время верил, что от судьбы не уйдешь. Говорят, какая-то цыганка предсказала ему, что он будет ездить на белом коне, но я не расспрашивал его об этом.

Никогда не расспрашивал также Скобелева о его женитьбе, так как понял из некоторых замечаний, что это его больное место. Но я положительно подметил у него стремление к семейной жизни, и когда он раз горячо стал оспаривать это, я прибавил:

— Необходимо только, чтобы жена ваша была очень умна и сумела бы взять вас в руки.

— Это, пожалуй, верно, — согласился он.

Другой раз, помню, в Плевне я смеялся, что мы еще увидим маленьких Скобелят, которые будут ползать по его коленам и таскать его за бакенбарды. М. Д. хоть и проворчал: «Что за чушь вы говорите, Василий Васильевич», однако предобродушно смеялся над моей картиной. Не мало смеялись, помню, тогда Хомичевский и другие ординарцы, при этом бывшие.

Незадолго перед смертью, Скобелев хотел, как я слышал, жениться на бедной, но образованной девушке, чему помешал, однако, его развод — известно, что он разъехался со своей женой и во что бы то ни стало настоял на разводе, так что ему пришлось принять на себя грех дела, со всеми его стеснительными последствиями. Я говорю об этом потому, что Скобелев считался, да и любил, чтобы считали его отчаянным противником не только женитьбы, но и всякой прочной связи с женщиной.

* * *

Я не могу распространяться о том, как Скобелев умер. Очень ему хотелось умереть на поле чести, на поле настоящей битвы! Что делать — «повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить». Не мог помириться Михаил Дмитриевич с фактом, что ему уже не 20 лет, и все порывался соперничать в любовных похождениях со своей молодежью, ординарцами.

Он был ребячески наивен в этих похождениях, на которые обыкновенно настойчиво зазывал и последствий которых крепко боялся. В Петербурге, перед самым отъездом в Туркменской поход, встречаю Скобелева на Невском проспекте. Я утаптываю тротуар, он едет на паре серых.

— Стой, стой!.. Василий Васильевич, поедем ко мне!

— Зачем?

— Поедем, сам Бог вас послал.

— Да что такое?

— Увидите, сам Бог посылает вас.

Приезжаем.

М. Д. насилу выходит из экипажа, едва переставляет ноги, брюзжит на прислугу, грозит прогнать всех, распекает адъютанта и ординарца, — как страшно попало бедному Баранку — я должен был вступиться, — запирает двери.

— Василий Васильевич, голубчик, я болен... — посмотрите что у меня? Если это... Я пушу себе пулю в лоб.

— Показывайте!

Я взглянул и ужаснулся. Расспросил его — он, как младенец невинный, подробно рассказал все, видимо ничего не скрывая.

— Сколько я понимаю, это не то... — сказал я ему и потребовал, чтобы, по крайней мере, на три дня он лег в постель.

— Не могу, — забушевал Скобелев, — что вы говорите! Я каждый день должен ездить на работу с военным министром и начальником штаба — и думать об этом нечего! Не требуйте от меня невозможного.

— Знать ничего не хочу, — отвечал я, — на три дня в постель без рассуждений! — и представил ему серьезно подумать о том, какой будет результат его деятельности на войне, если он принужден будет уехать не выздоровевши.

Это подействовало, и он, ворча и капризная, улегся.

Я сейчас же поехал к моему приятелю профессору Чудновскому; тот сначала не хотел ехать под предлогом, что он «не специалист», но наконец решился. Я почти силою схватил его и привел к герою. Тот, еще раз выслушавши, что опасного ничего нет, но что покой в несколько дней абсолютно необходим, недовольный, остался в постели и, чтобы не терять золотого времени, принялся читать «Нана», известя, разумеется, начальство о внезапном нездоровье своем³⁷

Кто не был в огне со Скобелевым, тот положительно не может себе понятия составить о его спокойствии и хладнокровии среди пуль и гранат — хладнокровии тем более замечательном, что, как он сознавался мне, равнодушия к смерти у него не было; напротив, он всегда, в каждом деле, боялся, что его прихлопнут и, следовательно, ежеминутно ждал смерти. Какова же должна была быть сила воли, какое беспрестанное напряжение нервов, чтобы побороть страх и не выказать его!

³⁷ Можно без натяжки сказать, что ближайшею причиной смерти М. Д. Скобелева была рана, полученная им на Зеленых горах. Пожалуй, это не рана, а царапина, ушиб, но пришедшийся против сердца. У меня хранится мундир покойного с маленькой заплаткой на месте поранения — как раз против самого сердца! И так как Скобелев упал от этого удара, то, конечно, удар не прошел бесследно.

Кстати скажу, что у меня, кроме Скобелевского значка и помянутого мундира, хранится еще, как память, складной стул, который всегда возился за ним казаком и на котором покойный генерал часто сживал во время рекогносцировок и битв; когда на переходе через Балканы казак разбил мой складной стулик, Скобелев ссудил мне свой, так и оставшийся у меня, а я потом отдал ему мой. — *Примеч. авт.*

Благоразумные люди ставили в упрек Скобелеву его безоглядную храбрость; они говорили, что «он ведет себя, как мальчишка», что «он рвется вперед, как прапорщик», что, наконец, рискуя «без нужды», он подвергает солдат опасности остаться без высшего командования и т. д. Надобно сказать, что это все речи людей, которые заботятся прежде всего о сбережении своей драгоценной жизни — а там, что Бог дает; пойдет солдат без начальства вперед — хорошо, не пойдет — что тут поделаешь: не для того же дослужился человек до генеральских эполет, чтоб жертвовать жизнью за трусов. «А почему бы и нет! — рассуждал Скобелев, — понятие о трусости и храбрости относительное: тот же самый солдат, в большинстве случаев, может быть и трусом, и храбрым, смотря по тому, в каких он руках. Одно верно, что солдат обыкновенно не дурак: увлечь его можно, но заставить идти, не показавши примера, трудно». Этот-то пример и солдатам, и офицерам Скобелев и считал себя обязанным показывать.

Я видел немало умников, уговаривавших солдат идти вперед, указывавших путь к славе и прочему, и прочему — ничего не берет! Пройдет или пробежит отряд несколько шагов, да и засядет в канаве, а в реляции напишут: «Атаковали в штыки, но были отбиты, не совладели с численным превосходством», — благо, численное-то превосходство неприятеля может проверить один Бог.

Никогда не рисковал Скобелев жизнью попусту, всегда он показывал пример бесстрашия и презрения к жизни, и пример этот никогда не пропадал даром: одних приводил в совесть, других учил, увлекал, перерождал!

* * *

Всегда толковый, разумный, увлекательный на поле битвы, Скобелев в частной жизни был хотя и симпатичен, но нервен, капризен. При разговоре он редко сидел — это, видимо, стесняло его: он шагал, как зверь в клетке, как бы мала ни была комната, даже тогда, когда, как в Париже, кабинет его действительно уподоблялся клетушке. Когда же он сидел, то непременно вертел что-нибудь в руках, что попадалось; за обедом всегда усиленно мял хлебный мякиш. Случалось, видя эту нервную непрерывную работу пальцев, взять его за руку и остановить со словами: «Хоть теперь-то успокойтесь!» Но приостановка всегда была не надолго, через несколько секунд уж опять пальцы мнут, лепят, из сил выбиваются.

Так чертовски храбрый на поле битвы, Скобелев был порядочный трус перед очень высокопоставленными лицами — он как будто съеживался в их присутствии, принимал жалостливый вид. Всегда заново одетый и надушенный перед солдатами, под нулями — в главной квартире он ходил каким-то отчаянным, шинель на боку, фуражка на затылке — точно он боялся, чтоб не засмеяли, не поставили ему в вину щегольство одеждой, как ставили в вину храбрость.

Когда, после короткого пребывания в Париже, я, снова возвращаясь на Дунай, зашел к матери Михаила Дмитриевича — мимоходом сказать, весьма милой и умной женщине, она просила доставить сыну ящичек, очень нужный. На границе вскрыли ящик и он оказался битком набитым склянками духов.

* * *

Выходки Скобелева против австрийцев и немцев не были так неосновательны, как многие думали и у нас, и особенно за границей. Никто, конечно, так крепко, как я, не журил Скобелева за эти речи, но надобно сознаться, что, с его точки зрения, он имел основание «кликнуть клич славянам». Я положительно не соглашался с ним, не разделял его уверенности в том, что вот-вот на носу у нас война с немцами, которые будто бы перестали уже церемониться, скрываться и прямо угрожают нам. Но Скобелев возвратился с маневров германской армии совершенно проникнутой уверенностью, что столкновение наше с немцами близко.

В Париже, в своем крошечном кабинете, он с возбуждением рассказывал мне, как отпускал его в

прощальной аудиенции старый император германский. Рассказывая, М. Д., как тигр, бродил из угла в угол, останавливаясь по временам, чтобы представить сидящего на лошади покойного Вильгельма или некоторых лиц свиты его.

Его германское величество сидел-де подбоченившись на коне, и от него, в обе стороны, тупым углом, стояла громадная, бесконечная свита из немецких офицеров всех рангов и военных агентов всех государств. Когда Скобелев выехал, чтобы откланяться, Василий Федорович (как называли русские престарелого императора) сказал ему:

— Вы меня проэкзаменовали до моих внутренностей. Вы видели два корпуса, но скажите его величеству, что все 15 сумеют, в случае надобности, исполнить свой долг так же хорошо, как эти два.

Может быть, я ошибаюсь в одном или нескольких словах, но смысл речи был таков — Скобелев тогда же занес эти слова в свою записную книжку, откуда и читал их мне. Этот смысл, признаюсь, казался мне очень простым и натуральным в устах старого монарха; но М. Д. думал иначе: по его убеждению, и самые слова, и интонация их, особенно ввиду обстановки, т. е. множества иностранных, по большей части далеко недружественно расположенных к нам офицеров, указывали на враждебный умысел.

Еще более усилил в Скобелеве уверенность в том, что нам не избежать в близком будущем разрыва с немцами из-за австрийцев, покойный принц Фридрих-Карл, должно быть, на правах лихого кавалериста, считавшего возможным говорить то, о чем дипломаты помалчивали — дружески ударив Скобелева по плечу, принц вдруг выпалил:

— Любезный друг, делайте, что хотите — Австрия должна занять Салоники.

— Так так-то! — говорил мой Михаил Дмитриевич, бешено шагая по своей клетушке. — Так это значит уже решенное дело, что австрийцы возьмут Салоники — они будут действовать, а мы будем смотреть — нет, врешь, мы этого не допустим!

Интересно, что только в последние годы своей жизни Скобелев всецело отдался славянской идее, вытеснившей в его уме мысль о необходимости исключительной заботы о развитии нашего могущества в Азии, походе в Индию и прочем. Мне довелось повлиять в значительной степени на эту перемену в его мыслях.

Несколько раз случалось охлаждать его «туркестанский» пыл и раз я прямо высказал, верно ли, нет ли, что в настоящую минуту среднеазиатские наши владения важны для нас политически потолику, поколику они дают возможность угрожать из них нашим европейским врагам, сеющим славянскую рознь; иначе, прибавил я, «игра не стоила бы свечей». Скобелев внимательно отнесся к этим доводам, хотя не вязавшимися с тем значением, которое он придавал Туркестану, но, видимо, поразившим его.

— Может быть, вы и правы, — сказал он мне тогда. Впоследствии же он настолько усвоил эту мысль, что в известном письме к Каткову целиком повторил ее, только вместо слов: «игра не стоила бы свечей», сказал: «овчинка не стоила бы выделки».

Я говорил об этом М. Н. Каткову, когда толковал с ним о Скобелеве.

* * *

В последний раз виделся я с дорогим Михаилом Дмитриевичем в Берлине, куда он приехал после своей известной речи в защиту братьев босняков-герцеговинцев, сказанной в Петербурге. Мы стояли в одной гостинице, хозяин которой сбился с ног, доставляя ему различные газеты с отзывами. Кроме переборки газет, у Скобелева была еще другая забота: надобно было купить готовое пальто, так как он приехал в военном, а заказывать не было времени; масса этого добра была принесена из магазина и приходилось выбирать по росту, виду и цвету.

— Да посмотрите же, Василий. Васильевич! — говорил он, поворачиваясь перед зеркалом. — Ну,

как? Какая это все дрянь, черт знает!

С грехом пополам остановился он, с одобрения моего и старого приятеля его Жирарде, который с ним вместе приехал, на каком-то гороховом облачении; признаюсь, однако, после, на улице, я покаялся — до того несчастно выглядела в нем красивая и представительная фигура Скобелева: он был точно облизанный!

После камешка, брошенного им вскоре в огород немцев, некоторые берлинцы, видевшие нас вместе, спрашивали меня потом:

— Так это-то и был Скобелев?!

Во время этого последнего свидания я крепко журил его за несвоевременный, по мнению моему, вызов австрийцам; он защищался так и сяк и, наконец — как теперь помню, это было в здании Панорамы, что около Главного штаба, — осмотревшись и уверившись, что кругом нет «любопытных», выговорил:

— Ну, так я тебе скажу, Василий Васильевич, правду — они меня заставили; кто «они» — я, конечно — помолчу.

Во всяком случае он дал мне честное слово, что более таких речей не будет говорить; но вслед за тем, попавши в среду французов, m-me Adan и других увлекся и снова заговорил...

— Бога ради, Василий Васильевич, — говорили мне в нашем Берлинском посольстве, — поезжайте скорее в Париж, остановите его — нам хоть выезжать отсюда от его речей... Я не застал уже Скобелева в Париже — его вызвали для головомойки в Петербург.

Прощай, милый, симпатичный человек, высокоталантливый воин — прощай, до скорого свидания — там?!

ИЗ ОПЫТА ПОХОДОВ

За время Русско-турецкой войны много было замечено в военных порядках такого, что, по приговору сведущих людей, следовало исправить, переделать или вовсе пересоздать; а так как война, хотя ее никто не желает, может быть не за горами, то всякий голос, возвышенный с целью обратить внимание на правильное разрешение вопросов организации военных сил — нелишний теперь. Не откликнутся, скажут, что все и без того в порядке — пусть будет так; не впервые слышать: «Вам-то какое дело? Вы что суетесь?»

* * *

Сделаю обзор различных родов оружия и начну с кавалерии.

Не будучи кавалеристом по профессии, я имел случай наблюдать деятельность конницы на разных окраинах России, и наблюдать преимущественно в военное время, когда достоинства и недостатки организации сказываются особенно рельефно, когда их трудно преувеличить или уменьшить.

Конечно, я не имею претензий учить специалистов дела, а желаю лишь обратить их внимание на кое-что, упускаемое ими из вида, притом проверке общественным мнением, по существу дела, недоступное³⁸.

Я имел случай видеть нашу кавалерию, кроме Европейской России, еще на Кавказе, когда в западной части его замирало последнее эхо долгих кровопролитных войн. Видел ее на Урале, в Сибири, на китайской границе и в Туркестане. Наконец, видел в минувшую Турецкую войну в отрядах

³⁸ Известно, что военные всех родов оружия очень не любят вмешательства «штатских»; а так как дисциплина обязывает военных «сора из избы не выносить», то выходит, что они и сами обо многом помалчивают, и другим мешают говорить. — *Примеч. авт.*

Гурко, Скобелева и более всего под начальством генерала Струкова, в набеге на Адрианополь — набеге, признанном теперь и у нас и многими авторитетами за границей, образцовым, подвигом кавалерии.

Мне приходилось участвовать в действиях кавалерии почти во всех поименованных местах, и надобно сказать, что если случалось бывать в набегах более дерзких и опасных, чем помянутый Адрианопольский, то более правильного и разумно веденного, более обильного результатами — я не помню.

* * *

Перед тем, как перейти к некоторым техническим вопросам организации кавалерии, я брошу общий взгляд на Адрианопольский набег и отмечу некоторые характерные черты, обусловившие успех его.

Движение конницы к Константинополю решено было после Шейновской победы. Спустясь с Балкан, Великий князь главнокомандующий спросил генерала Радецкого: «Почему кавалерия еще не впереди?» Немедленно же был послан на Малые Балканы генерал Дохтуров, у которого Струков начальствовал передовой частью; с нею он и занял мост через Марицу, т. е. одержал первый важный успех. Драгуны потушили этот зажженный неприятелем мост и тем обеспечили для армии переправу через реку, по которой шел лед. Турецкий табор, охранявший переправу, заклепал орудия и убежал, не оказав серьезного сопротивления — Сулейману-паше путь отступления на Адрианополь был перерезан!

Назначенный вслед затем командиром авангарда Скобелевского отряда, Струков пошел на Адрианополь, занял его без боя и, конечно, занял бы Константинополь, если бы не было заключено перемирие, остановившее нас в Чаталдже.

Так как серьезное сопротивление турок было сломлено сначала генералом Гурко под Филиппополем, а потом Радецким, Скобелевым и Святополк-Мирским под Шейновым, то нет ничего невероятного в предположении, что наш отряд конницы из трех полков, с конной батареей, дошел бы благополучно до Босфора. Многие улыбнутся, если я признаюсь, что мы со Струковым были настолько уверены в этом, что уже составили план временной организации управления турецкой столицей, снабжения войск провиантом и фуражем, обезоружения жителей и т. п.³⁹.

Необходимое условие всякого набега: быстрота движения, умение поддержать дух солдат, сберечь лошадей и умение организовать продовольствие отряда, без грабежа.

Задорной быстроты в нашем случае не было проявлено, так как очень налегать на отступавших турок не было расчета: как прижатый к стене заяц, они могли показать зубы и без нужды перепортить нам много народа — под Чорлу отчасти так и случилось.

Мы делали средним числом от 35 до 45 верст в сутки, и Скобелев не требовал большей скорости, совершенно одобрил эту — а он был порядочно нетерпелив и требователен, относительно быстроты движения войск, особенно кавалерии.

Надобно сказать, что передовая дивизия была свежая, нетронутая, офицеры и солдаты не утомленные, лошади хорошие — немало было малороссийских коней. Уход за лошадьми был внимательный, так что ряды сохранились до конца похода.

Ячменя и сена было достаточно, особенно первого, и все даром, так что весь поход был сделан на свой счет, т. е. ничего не стоил казне — настоящий кавалерийский набег. Денег полковые командиры

³⁹ Правду сказать, перспектива обезоружения, лежавшая на моей обязанности, особенно улыбалась нам, так как я собирал коллекцию восточного орудия, да и Струков обещал некоторым петербургским друзьям по боевому сувениру... «Мечты, мечты, где ваша сладость?» — *Примеч. авт.*

не только не получали своевременно, но вовсе не получили, так что жили остатками старого, пробавлялись как кому Бог на душу положил, пробавлялись недурно, благо не было возни с интендантскими чиновниками, всегда все обещающими и никогда ничего вовремя не заготавливающими.

Я далек от того, чтобы возвести в идеал такое кормление на шаромыжку⁴⁰; напротив, иметь доверие к начальнику отряда, открыть ему кредит — мне кажется необходимо, особенно на Востоке, где, например, «бакшиши»⁴¹ играют большую роль.

Организация движения была донельзя проста: не было относительно ее никаких споров или препирательств.

Скобелев велел наступать — и мы наступали. Мы делали по два перехода в день и каждый третий день был роздых-дневка.

Отряд шел очень весело: по утрам обыкновенно играли вальсы, а в продолжение дня пелись песни — разумеется, по погоде глядя, с большим или меньшим увлечением.

Начальника штаба авангарда, наступавшего к Константинополю, вовсе не было, и часть обязанностей по этой должности я взял на себя из дружбы к Струкову, ни днем, ни ночью не знавшему отдыха; письменность вел драгунский офицер Востросаблин — и вел толково, исправно.

Добывание сведений от туземцев производилось правильно и регулярно, благодаря хорошему переводчику Христо, сообщавшему мне все слухи как о больших турецких силах, так и о мелких шайках черкесов и башибузуков; сведения эти я передавал потом Струкову.

Хлеб был... хотя, пожалуй, этой статьи могло бы быть и больше, зато мясо имелось до отвала, так как турки, ограбив болгар волами и перевозочными средствами, побросали огромный стада баранов, оказавшихся совсем не неприятельскими на солдатских зубах.

Попадалось везде местное вино и ракия, т. е. водка, также табак. Не только кавалерия промышляла про себя, но даже заготавливала кое-что и для пехоты — Скобелев изъявил потом благодарность за это.

Конечно, телеграфное сообщение везде немедленно прерывалось, т. е. снимались замки; рубить же столбы или обрывать проволоки Струков строго запрещал, так что через два дня по приезде уполномоченных для мирных переговоров телеграфное сообщение могло быть восстановлено.

Железнодорожная линия была все время под строгим контролем и уж, конечно, никто из турок или каких-либо подозрительных лиц не проскочил по ней.

Поползновения к грабежу со стороны солдат, а в особенности казаков, были, но они строго обрезались в самом начале; например, вторая столица Турции, богатый и многолюдный Адрианополь, не потерпел за время нашего пребывания в нем ни в каком отношении; не было даже драк и ссор с жителями.

Попытка генерального консула одной из великих держав вмешаться в управление занятым нами городом и его застраивания восстанием, не имели успеха: помянутый чиновник, разодетый жар-птицей, потратил напрасно свое красноречие и ушел, «несолоно похлебавши».

Налобно заметить, что больных в походе у нас не было и что, несмотря на множество рыскавших по стране там и сям черкесов и башибузуков⁴², только два пикета были вырезаны.

Конечно, и офицеры и полковые командиры не дремали, но в особенности я дивился энергии щедедушного на вид Струкова, хорошо понимавшего громадную ответственность, на нем лежавшую

⁴⁰ Т. е. на чужой счет, даром.

⁴¹ На Ближнем Востоке и в Южной Азии так называют чаевые, подаяние нищим, мелкое вознаграждение за услуги.

⁴² Иррегулярные военные отряды в Османской империи.

— ответственность начальника кавалерийского отряда, шедшего на 100 верст впереди своей пехоты,
— положительно не знавшего покоя⁴³.

Словом, если Скобелев быстро и умно направлял движение кавалерии, то она толково и успешно исполняла его. Результат не заставил себя ждать.

Вот, в немногих словах, как наша конница в прошлую войну прошла от Казанлыка почти до ворот Константинополя, гоня арьергард турецких войск. Теперь я перейду к некоторым техническим сторонам, в которых кое-что кажется мне непрактичным, требующим пересмотра.

* * *

Кавалерия при императоре Николае I была образцовая, идеальная — с казовой парадной стороны: старые служаки говорят, что «нынче только во сне можно видеть такую».

Бесспорно, и офицеры, и солдаты были тогда менее развиты, но выучка, муштровка была очень строга, а лошади были хороши — высокого роста, сильные, что при большом весе всадника и вооружении много значит.

Однако кавалерия была хороша, как сказано, лишь на парадах, лагерных переходах и маневрах, в кампании же оказывалась несостоятельной: боевые потери конями были обыкновенно невелики, а солдаты возвращались с похода с седлами за плечами. Солдаты хорошо ездили манежной старонемецкой системой, а на первых же тяжелых переходах сдирали спины лошадям.

Кто не знает, что в забалканском походе Дибича кавалерия «легла костями» не против внешнего неприятеля — турок, а внутреннего — веса всадника с напряжением, порчи и ломки спин, дурнойковки и, главное, казнокрадства, воровства повсеместного, колоссального! Известно, что в те времена сплошь и рядом полки давались для поправления состояний, а когда же было и поправлять состояния, как не во время войны, ну, и поправляли к выгоде неприятеля и к нашему сраму.

В последнем турецком походе также не было больших боевых потерь лошадьми, но уже при проходе Румынией выбыло множество лошадей, а в конце похода лейб-гусары, например, вступили в Адрианополь в числе 60 коней в эскадроне. Конечно, это некоторый успех против 1829 года, но все-таки досадно, что такая часть войска, как гвардейская кавалерия, содержание которой обходится ужасно дорого, так печально оканчивает походы.

Конечно, нельзя ставить казаков в пример регулярной кавалерии, но нельзя не задаться вопросом: почему у казаков потери лошадьми менее?

Никто не скажет, что лошади у казаков лучше, скорее наоборот.

Никто не скажет, что казаки несут меньшую службу, скорее наоборот.

Может быть, подумают, что «что твое — мое, а что мое — не твое» практикуется у казаков в меньшей степени, — ничуть не бывало, — скорее наоборот!

Надобно сказать, что в общих чертах казак более конник на русский лад, а кавалерийский солдат — на иностранный лад. У казака и сам он, и лошадь больше приспособлены к существенным условиям службы, к климату, почве, пище. У кавалериста-солдата все налажено в подражание иностранцам и их климату, к показу на учении, к параду.

В нашу суровую зиму, например, и сам кавалерист и его лошадь совершенно не закрыты от холода и вьюги и солдату не полагается ни полушубка, ни рукавиц! Не принять во внимание факта, что мы по преимуществу воины холодного климата, в Италию ходить воевать больше не будем и все серьезные

⁴³ Когда я буквально сваливался с ног и, например, ночью, в день занятия Адрианополя, не будучи в состоянии более двинуться, заснул как убитый, Струков отправился еще раз, один, удостовериться, все ли везде благополучно, накрыл какие-то 30 орудий, приготовленных турками к отправке, осмотрел посты и т. д. Ночная поверка постов была в особенности тяжела. — *Примеч. авт.*

кампании оканчивали и будем оканчивать зимой.

Каково солдату в тридцатиградусный мороз без полушубка и теплых рукавиц, которые он может надевать лишь нарушая дисциплину? Каково лошаде, имеющей лишь небольшую попону?

Казак вообще меньше замуштрован и относительно одежды меньше стеснен, чем солдат; он ловчее, хитрее, находчивее в походе. — в этом нет сомнения; он больше любит лошадь, как за собственностью, больше за нею ухаживает, старательнее добывает пищу, лучше пригоняет седло, словом, больше любит и бережет свою лошадь.

Солдатам часто меняют лошадей для уравниения, для подбора по эскадронам, что следовало бы делать лишь в самых необходимых случаях. Рассылается кавалерист с конвертами и разными поручениями обыкновенно пешком, а лошадь в это время стоит на конюшне; когда эти посылки дальни и утомительны, они озлобляют солдата на лошадь: «Ходи, дескать, за ней как за барыней и любуйся на нее, только от нее и пользы!»

В кавалерии некоторых государств лошадь не только носит своего всадника всюду, при разноске приказаний и исполнении поручений, но и дается унтер-офицерам для прогулок, что весьма разумно, ввиду цели сближения конника с его конем.

Можно сказать, что необходимо у нас больше привязать солдата к лошади.

* * *

Прежде было много малороссийских лошадей в кавалерии; многие помещики имели такие большие табуны, что с одного завода поступали в ремонт от 50 до 80 мерин, а теперь у помещиков собирают по одной, по две лошади от владельца. Это сильные, рослые лошади, гораздо больше способные к манежной выучке, тем донские. Лошади задонских степей недурны. Зимовниковы владельцы производят хороших лошадей; у них жеребцы — английские, арабские и государственного коннозаводства, хотя надобно сказать, что, к сожалению, лучшие лошади не попадают к нам, а идут в Австрию, Румынию, Турцию.

В станичных табунах лошади слабые, не соответствующие весу всадника со снаряжением. Лошадь в нашей кавалерии должна нести от семи до восьми пудов, т. е. почти то же, что и в царствование Николая I, когда одни кирасиры разве были тяжелее; но теперь прибавилась винтовка с патронами, пулями и седельный выюк, а лошадь много слабее прежней.

Впрочем, так как теперь все вещи снаряжения изготавливаются легче, то в конце концов ружье не много увеличивает против прежнего общий вес.

С другой стороны, малая лошадь не есть непременно бессильная, так что подыскивание во что бы то ли стало больших лошадей не есть необходимость.

Если огромный сырой солдат сплошь и рядом не может выстоять против небольшого, широкоплечего, коренастого, то и приземистая выносливая лошадь может сослужить лучше иного высокого не крепкого коня.

Не было конницы в Индии страшнее Маратской, сидевшей на крепких *маленьких* конях, под копытами которых «земля трещала», по словам летописцев, и чудесная конница великих моголов, с высокими конями, редко выдерживала атаки Маратов.

Вообще строевая лошадь требует сбора, а донская, при всех ее достоинствах, не может собраться, у нее оленья шея, она задирает голову, и задирает с упрямством, ее характеризующим.

Удивительно, что темперамент лошади до сих пор не принимается во внимание: степная свободная лошадь, более других злопамятная, настойчивая, капризная, муштруется точно так же, как меланхолический конь, взросший в конюшне. Донская лошадь очень свободолобива, чего не хотят знать; до чего она свободолобива, видно из того, что были случаи, когда кони, срывавшиеся из частей,

стоявших на расстоянии около ста верст от их прежних пастбищ, возвращались к себе в зимовники, в табуны. Можно ли не обращать внимания на такие факты и мучить такую лошадь мундштуком и шпорами, т. е. совершенно портить ее характер?

Прежде при Николае I полки ремонтировались по мастям; потом при Александре II группировались по мастям только эскадроны. Теперь нашли возможным снова подбирать одномастные полки. Мне кажется, что подбор под один тип лошадей из степи, из конюшни и из-под упряжи, нецелесообразен и выгоды такого подбора не выкупают невыгод.

Одно, что необходимо по части подбора мастей, это — помещение в хвостах эскадронов белых коней на случай темных ночей. Я живо помню отчаяние генерала Т., получившего от Скобелева приказание «выступить следом за кавалерией» и, за темнотой ночи, потерявшего эту кавалерию, имевшую в арьергарде гнедых коней. Недалеко ходить и за другим примером: ночью при выступлении из Адрианополя, когда зги не видно было, мы тоже потеряли арьергард полка, шедшего перед нами, всего в нескольких шагах, и нашли его только наутро, хорошо, что не наскочили на крупную партию черкесов, рыскавших по окрестностям!

Если бы лошадей, пригодных к мундштуку, отдавать в одну часть, а непокорнейших из степняков в другую, где не было бы мундштука, то дело выучки лошадей много бы выиграло. Тогда и вопрос о годности и непригодности мундштука для нашей кавалерии мог бы быть решен на да или на нет, теперь же он так и остается вопросом.

В высших сферах управления кавалерией не допускается и сомнения относительно мундштука, и только некоторые отдельные начальники, люди инициативы, пробовали обходиться без них.

Генерал Струков, один из лучших и наиболее компетентных кавалерийских генералов, делал на свой страх опыты с лошадьми, носившими в строю на мундштуке; он снимал с них мундштук и надевал уздечку — результат выходил поразительный: большая часть лошадей успокаивалась, делалась послушнее, характер их видимо улучшался.

Струков делал пробу водить весь эскадрон на уздечке — тянут, лежат на руке, но, коли навык есть, слушаются, равняются, и есть полное основание надеяться, что если работать в этом направлении правильно, настойчиво, каждый день, то носить не будут.

Можно, значит, еще сказать, что желательно, чтобы лошади подбирались не столько по мастям, сколько по темпераментам.

Мне сдается также, что несправедливо поощрять развитие коневодства только на юге. На конных ярмарках севера, например, в Вологодской губернии можно приобретать крепких, красивых и рослых лошадей по недорогой цене — от 80 до 150 рублей. У нас совершенно несправедливо распространено мнение, что лошади севера все малорослы, приземисты — очевидно, смешивают тут чисто вятскую породу с общей северной. Правда, что это скорее упряжные лошади, теперь годные больше в артиллерию, но мне думается, что с осушением болот в крае и введением хорошей крови в породу, при помощи случных конюшен, северные пастбища стали бы растить и кавалерийских коней.

* * *

Другое горе строевых лошадей — подкова: она весит более фунта, т. е. свыше четырех фунтов на четыре ноги. В обыкновенное время куют только на перед и лишь в походе на все четыре ноги, в зимнее время даже на винты. Но тут-то и беда: винты эти совсем особенные, солдат должен возить их с собой и винтов этих не напастись, потому что иногда они держатся не более нескольких часов⁴⁴.

⁴⁴ Как трудно отрешиться от замысловатого и непрактичного, видно из того, что до сих пор полковые повозки не только грузны и неуклюжи, но и до того хитро устроены, что раз она сломается, немислимо ее починить в обыкновенной кузнице — в одном колесе чуть не десяток разных винтов, которые тоже все надобно возить с собой в огромном запасе. — *Примеч. авт.*

Очевидно, это должно быть упрощено: винты должны быть проще, чтобы их можно было чаще менять, и солдат был бы в состоянии перековать свою лошадь в каждой встречной деревенской кузнице.

Генерал Струков сделал опыт, ввиду особенного свойства копыта донской лошади, вовсе не ковать — результат опыта тот, что добрая часть лошадей может оставаться неподкованной. Разумеется, желательно, чтобы такого рода опыты были расширены и чтобы они делались не тайком, «на свой страх», а по официальному дозволению и приказанию.

Надобно заметить, что еще затрудняют движение лошади сумы, до некоторой степени и передние, но в особенности задние, бьющие по брюху и по ногам животного.

* * *

Несколько слов о вооружении.

Обращение большей части кавалерийских полков в драгунские можно признать мерой разумной, хотя немало традиций лихой легкой кавалерии уничтожено этой переменной. Хоть часть старых полков следовало бы восстановить.

Ружье сильно стесняет кавалериста во всех движениях и особенно при атаке, но, с другой стороны, оно дает ему уверенность, а с тем вместе и силу, так что в кое-каких мелочах, лучше пригнанное и приноровленное, оно, в конце концов, будет надежным помощником кавалеристу. Уменьшить вес ружья, однако, положительно необходимо: оно весит теперь до 20 фунтов, да пашка 12 фунтов, да патроны около 10 — не перечесть всех фунтов, которые приходится носить сравнительно слабой донской лошади, несравненно менее нагруженной под казаком.

Кстати здесь заметить, что пробовать достоинство ружья нужно не единично, а целыми эскадронами и даже полками — только полк, прошедши все маневры с новым ружьем, в состоянии сказать, хорошо оно или нет.

На пику казак жалуется: она легко ломается и из-за раза, что он пойдет с ней в атаку, доставляет слишком много возни с нею. С другой стороны, если немцы вооружат своих гусар и улан пиками, то, без сомнения, нашим драгунам атаковать их кавалерию будет трудно.

По моему личному опыту в делах со среднеазиатцами, казак наш, какой бы он ни был уралец, оренбуржец или сибиряк, не боящийся пашки туземцев, крепко остерегается пики их: «Пашкой от пики где же оборониться», — говорит он.

По крайнему нашему разумению, уничтожить пику, как об этом говорилось, рискованно; лучше, напротив, попробовать, для опыта, вооружить оставшихся гусар и улан или несколько драгунских полков легкими железными пиками, вроде тех, что приняты индийской конницей — я вывез из Индии несколько таких пик — они, с одной стороны, несравненно менее тяжелы и громоздки, чем наши, деревянные, а с другой — менее ломки.

* * *

Взглянем на одежду драгун.

Шапка — только до мобилизации: в походе носят фуражку, которая при морозах, на дожде и солнце ссыхается. При быстрых аллюрах она легко слетает с головы и множество фуражек теряется.

Натурально, что с таким головным покровом при атаке приходится защищать голову естественным движением руки — вот уже первое неудобство.

Так как каски тяжелы, жестки, винтами режут головы, а при нашем климате и холодны, то необходимо озаботиться, чтобы головной убор был мягкий, стеганый, хоть мерлушачий, вроде малороссийской шапки. Говорю это по убеждению, потому что до сих пор помню удар пикой по голове, полученный в схватке на китайской границе, удар, который, без сомнения, оглушил бы и сшиб

бы меня с седла, если бы не защитила мой голову мягкая, меховая шапочка, заставившая пику соскользнуть.

Затем, к шапке необходима цепочка, которая и удерживала бы шапку на голове и отводила бы при случай сабельный удар, мало ли было примеров того, что какой-нибудь образок, или крестик отводили удары и спасали от смерти. Наконец, пусть только подведут счет фуражкам, растерянным в походе, тогда увидят, что дать мягкий, крепко сидящий и придерживаемый цепочкой головной убор — необходимо.

Сапоги должны быть не очень высокие, до колен, и, по возможности, без складок, т. е. безыскусные, так как в них набивается всегда масса грязи.

Шпоры, одно из наказаний не только для лошадей, но и для людей, в походе обыкновенно снимаются — конечно, о них не горюют: хлыст или нагайка совершенно достаточны. Если уж вообще быть шпорам, то, конечно, на ремнях, а не на винтах, что теперь, впрочем, и введено.

Больше же всего я настаиваю на том, чтобы солдаты имели на зиму полушубки и теплые рукавицы, имели не контрабандно, как теперь, а официально — полушубок должен быть формой наших солдат от ноября до марта.

Еще пехотинец скорее может обойтись без него, потому что он ходит, греется, тогда как кавалерист не может двинуться и в походе при -30° холода мерзнет в шинелишке, буквально подбитой ветром.

И теперь хорошие начальники, жалея людей, заводят полушубки на экономические суммы, если таковые есть, но все это делается негласно, как я сказал, контрабандой от начальства, которое пришло бы в ужас, если бы полк был выведен зимой на смотр в полушубках даже под шинелями. Можно только представить себе, что было бы, если бы нашелся такой дерзкий полковой командир, как он скандализировал бы начальство: «Почему люди так толсты, неуклюжи? Шинели долой». — О, ужас!

Шинели, конечно, должны остаться на остальное время, но зимой пусть будет форменный полушубок, длинный, до колен, как обыкновенный русский или, короткий, закрывающий лишь живот, как у румын.

Крестьянин наш почти целый год носит полушубок, он снимает его только на три летних месяца, а солдат — тот же крестьянин — никогда его не носит: невольно спрашивается: почему?

Под шинелью полушубок, действительно, был бы неуклюж, но, вместо сюртука, перетянутый, он может быть очень представителен; и говорить нечего, что это была бы чисто русская форма, не «европейская».

Достаточно видеть какой-нибудь смотр зимой, чтобы заметить, с каким состраданием относится народ к шинелишкам солдат. Три или пять тысяч солдат стоят во фронте, хоть при -10° градусах мороза, в шинелях, т. е. в легкой суконной одежде; толпа, тоже в несколько тысяч, смотрит на них, вся одетая в мех. Если эти последние так одеты из боязни простуды, то почему же простуда не страшна для первых? Не надобно забывать, что солдатами сплошь и рядом приходится в походе проводить ночи на морозе — тут уж полушубок и теплые рукавицы положительно необходимы, потому что отдыхать на снегу, часто при ветре, снежном вихре, в шинели — чистое мученье.

Помню, что при переходе через Балканы я пробовал ночью забываться сном, около костра, в полушубке, под буркой и одеялом — не тут-то было — почувствовавши, что начинаю просто-напросто коченеть, я встал, присел к огню и, закуря сигару, дождался часа выступления. Каково было в эту ночь солдатам в легких шинелях, и что было бы с отрядом, если бы случился вихрь или если бы вообще Скобелев и Куропаткин были менее заботливы, не запасли бы набрюшников, просаленных портянок и т. п.?

Кто не знает, не слышал о Шипкинском сидение — что было бы там с солдатами без полушубков, не признаваемых начальством, но, по его же просьбе, доставленных туда сердобольными людьми со

всей России?

Говорят, что в полушубках солдат вшивеет, но во-первых, это последнее зависит в значительной мере от заведенной в части опрятности, а во-вторых, в крайнем случае лучше иметь врагом вошку, чем мороз.

Пока полушубок не получит права гражданства в наших войсках, будет какой-то непризнанной, побочной частью туалета, он всегда, в случае надобности, не будет поспевать вовремя, будет доставляться в апреле вместо октября, как то было с войсками, переходившими Балканы по пояс в снегу, при морозах и вихрях в холодных шинелях... «Свежо предание, а верится с трудом!»

Офицеры, конечно, тоже не прочь были бы от полушубка, который, грел более, не был бы тяжелее: офицерское теплое пальто из штиглицкого драпа весит ведь от 25 до 30 фунтов — тяжеленько в нем действовать!

Солдатское сукно плохое, на дожде намокнет, от ветра не защищает — он пронизывает его; на морозе оно никуда не годится!

Вспомнить, например, кампанию 1812 года: сколько приходилось солдатам ночевать в лесах, в снегах — мыслимо ли это без полушубков?

Теперь, с обращением большей части регулярных кавалерийских полков в драгунские, надобно помнить, что назначение драгуна не то, что казака или гусара — где-нибудь ударить во фланге, ему нужно пробраться незаметно между городом и крепостью, крепостью и фортами, ночуя в случае нужды в лесу, в степи без огней — мыслимо ли все это зимой, без форменных полушубков?

С другой стороны, в провинции лошади стоят в небольших конюшнях, по две-три лошади в каждой, так что примерно, на каждые три конюшни нужен конюх, который не может быть так одет, как в казарме. Вообще люди там целый день на дворе или в сквозном сарае — возможно ли им быть в холодных шинелях?

А необходимость работать зимой без теплых рукавиц? Хоть теплые варежки должны быть при форме. Взглянуть на чухонца или на нашего крестьянина, почему он не боится мороза? Потому, что он хорошо защищен от мороза, и мороз ему нипочем.

Лошадей следует также лучше покрыть, хоть попону сделать больше. В последний турецкий поход лошади сильно простуживались, потому что вовсе не имели закрытия — люди снимали попоны и клали себе на ноги, чтобы хоть сколько-нибудь согреться.

Словом, еще раз: необходимо ввести в войсках зимнее платье, т. е. полушубки; в кавалерии нужда во этом еще настоятельнее, чем в пехоте.

* * *

Вопрос о казармах и бивуаках очень важен. Огромные казармы, на которые теперь мода, вряд ли так необходимы, как то думают.

Во-первых, они страшно дорого стоят: каменная казарма на полк не может обойтись менее полумиллиона и между ними и грошовыми деревенскими хатами и сараями можно взять среднее: выстроить небольшие эскадронные казармы, более удобные не только в строевом, но и в гигиеническом отношении.

В образцовой 4-й кавалерийской дивизии Струкова были сделаны опыты постройки таких казарм хозяйственным способом, в помещичьем имении: они деревянные, бревенчатые и обходились каждая в 8000 с небольшим; значит, постройка таких казарм на целый полк, будет стоить 50-60 тысяч рублей, — сумма, далекая от полумиллиона! Больших каменных казарм и молодые солдаты недолюбливают после деревни; небольшая постройка, конечно, менее тосклива, менее отделяет людей от существенных элементов деревенской и боевой жизни — воздуха, степи, леса.

Не только люди, но и лошади, привыкшие к жизни большой казармы, мало способны к бивуачной жизни зимой, а непривычка к зимнему бивуаку вредно отзывается на всей кампании: люди не умеют ни постели себе приспособить в снегу, ни вбить коновязи, не умеют ни лошадь от мороза укрыть, ни сами оборониться — поморозятся, полезут отогреться к огню — и пропали.

* * *

Маневры необходимо производить более серьезно, не по заученной программе, а на страх и риск начальников; не летом только, а непременно также зимой. Все понятия и знания не только солдат, но и начальства переворачиваются, когда приходится зимой применять опыт, добытый летом; сказать прямо: и солдаты и офицеры часто теряют голову в этих случаях.

Сделать переход по глубокому снегу, заночевать на морозе, в лесу, в делях, не поморозив ни людей, ни лошадей, кажется в мирное время для маневрирующих полков какой-то далекой и необыкновенной случайностью, тогда как это обыденно и неизбежно в военное время.

Необходимы частые поездки на возможно большие дистанции — поездки хоть и не всегда тактические, но толковые и практичные. Не следует брезговать переправой через ручьи и речки, что обыкновенно не нравится и офицерам, и солдатам.

Нужно беседовать офицерам с людьми, развивать их: необходимо как можно чаще в положенные часы читать избранные сочинения; надобно поощрять наградами тех офицеров, которые охотно и старательно исполняют это.

В конце концов, можно сказать: необходимо, чтобы солдат наш, с одной стороны, возможно развился нравственно и физически, с другой — сбросил бы с себя иностранную форму, которую он еще имеет, и, одетый в полушубок с теплыми рукавицами и носками, наловчился бы во всех маневрах, изворотах и движениях зимой: зимою ему придется сводить окончательные счета с неприятелями России; зима его не раз уже выручала: пусть не стыдятся того, что зима у нас длиннее лета — она и впредь не даст нас в обиду.